

# ВРЕМЯ И МЫ 25 1978



*Эмиль Коган* Происхождение предателя

*Александр Пятигорский* Пастернак и доктор Живаго

В ЭТОМ НОМЕРЕ: ТЕХНОЛОГИЯ НЕНАВИСТИ ● ФИЛОСОФИЯ ДОКТОРА ЖИВАГО ● ДЕЛО ЯНА РОКОТОВА ● "ВРЕМЯ И МЫ" В МОСКВЕ И ЛЕНИНГРАДЕ



# ВРЕМЯ И МЫ

---

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ  
ЖУРНАЛ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ

*Четвертый год издания*

Выходит один раз в месяц

**25**  
**1978**

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"  
1978

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН
ГЕОРГИЙ БЕН	МИХАИЛ ЛЕДЕР
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	БОРИС ОРЛОВ
ЕГОША А. ГИЛЬБОА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ЙОСЕФ ТЕКОА
МИХАИЛ КАЛИК	ААРОН ЯАРИВ

Представители журнала:

АНГЛИЯ Александр Штротас  
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse  
W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.

ЗАПАДНЫЙ Лотар Ролл  
БЕРЛИН Buschkrugallee 98, 1000 Berlin 47, t. 606-77-61

КАНАДА 305 Юрий Лурье  
Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2  
t. (204) 474-9773

США Эдуард Штейн  
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 387-05-97  
USA

ФРАНЦИЯ Ричард Кернер  
24, rue Lecluse, 75017 Paris 17e, t. 292-12-61

ФРГ Арий Вернер  
Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

**Александр ГАЛИЧ**

Блошинный рынок..... 5

*Сергей ДОВЛАТОВ*

Невидимая книга ..... 55

ПОЭЗИЯ

*Анна ГОРБУНОВА*

Плыви, моя лодка ..... 93

*М.ЛИВАНОВ*

Россия, где твои мыслители? ..... 96

ПУБЛИЦИСТИКА, ФИЛОСОФИЯ, КРИТИКА

*И. ДОМАЛЬСКИЙ*

Технология ненависти ..... 104

*Эмиль КОГАН*

Происхождение предателя ..... 130

*Александр ПЯТИГОРСКИЙ*

Пастернак и доктор Живаго ..... 149

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

*Фаина БААЗОВА*

Дело Рокотова ..... 173

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Мистика и реалии Нафтали Ракузина ..... 198

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

*Анатолий ГИЛЛЕР*

В защиту "сегрегации" ..... 204

*Эмма СОТНИКОВА*

"Время и мы" в Москве и Ленинграде ..... 211

Коротко об авторах ..... 218

Александр ГАЛИЧ

## БЛОШИНЫЙ РЫНОК

*Почти фантастический,  
но не научный роман*



*Окончание. Начало см.  
в 24 номере журнала.*

Таратута медленно, заложив руки за спину, подошел к дверям гостиницы "Дружба", остановился. Бюро погоды, как ни странно, предсказало верно — накрапывал дождь — мелкий, нудный, осенний.

Таратута взглянул на часы — без четверти десять. — "Ну и денек!" — подумал Таратута.

Он не знал, да и откуда было ему знать, что этот день был только первым, еще робким звонком колокольчика, собирающего действующих лиц на подмостки, только предвестником событий, и что сами события — неправдоподобные и стремительные — еще впереди.

Напротив гостиницы "Дружба", через дорогу, у закрытой кассы кинотеатра "Космос", безнадежно и терпеливо мокла недлинная очередь. Шел приключенческий фильм "Неуловимые мстители", действие которого происходило в Одессе, — и билеты нужно было заказывать за две недели вперед.

Но все равно, каждый вечер, к последнему десятичасовому сеансу, собирались у входа в кинотеатр и становились в очередь странные люди — то ли надеясь на слепую удачу, то ли

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

на внезапную повальную эпидемию гриппа, то ли вообще ни на что не надеясь, кроме как на возможность убить время.

И, глядя на эти унылые сгорбленные спины, на поднятые воротники, на нахлобученные чуть не до бровей кепки и шляпы, Таратута почувствовал тревожное раздражение; раздражение, которое было как бы и соблазном вмешаться, что-то сделать, созорничать.

— Ну, тихо, тихо, тихо! — попытался Таратута сам себя урезонить.

Но соблазн был сильнее всяких увещеваний.

И Таратута, вздохнув, засунул руки в карманы, решительно пересек улицу, прошел вдоль очереди к закрытой кассе, остановился и очень громко сказал:

— Граждане одесситы!

И все глаза мгновенно уставились на него.

— Граждане одесситы! Вы, как я понимаю, ждете чуда! Но чудес не бывает. Это совершенно точно доказано наукой и товарищем Верченко Леонтием Кузьмичом!..

Он сделал паузу в ожидании, что кто-нибудь спросит его, кто такой товарищ Верченко, но очередь, состоявшая, главным образом, из пенсионеров и мальчишек, испуганно молчала.

— Граждане одесситы! — еще громче сказал Таратута. — Я предлагаю вам не ждать милостей от природы! Я предлагаю взять этот вонючий кинотеатр штурмом... Это же не какой-нибудь Зимний дворец, а всего-навсего бывшая китайская прачечная!

Он выпятил вперед подбородок и с командирскими раскатами в голосе отчеканил:

— Участники штурма — два шага вперед!

Очередь быстро начала таять.

Пожилой одессит с профессорской бородкой, просеменив мимо, похлопал Таратуту по плечу зонтиком и сказал негромко, не разжимая губ:

— Играетесь с огнем, молодой человек!

Протопала компания лохматых юнцов, стараясь всем своим видом показать, что ничего-то они не боятся, но что просто им надоело ждать.

— Эх, вы! — сказал им вслед Таратута. — А еще туда же — будем, как Ленин, будем, как Ленин! Вы на доктора Семашко и то не потяните!

Таратута усмехнулся, махнул рукой, повернулся по-военному, на каблуках, пересек улицу в обратном направлении, и, уже останавливаясь, толкнул дверь и вошел в полутемный холл гостиницы "Дружба".

Здесь было все, как всегда, — какие-то люди дремали в креслах, зажав в ногах, как всадники шенкеля, портфели и чемоданы, телефон на стойке дежурного администратора звонил надсадно и непрерывно, сам администратор отсутствовал, а на дверях лифта висела табличка с надписью, отпечатанной типографским способом, "Лифт не работает".

Таратута с досадой чертыхнулся. Он-то знал, что лифт работает.

Заместитель директора гостиницы "Дружба", тот самый, упомянутый Таратутой Леонтий Кузьмич Верченко, выдвигенец из биндюжников, как-то в припадке пьяной откровенности объяснил Таратуте, в чем тут секрет.

Несколько месяцев тому назад администрация гостиницы "Дружба" и администрация гостиницы "Красная" подписали договор о социалистическом соревновании и вступили в борьбу за переходящее знамя Одесского горисполкома и Управления коммунального хозяйства.

Среди всевозможных обязательств, взятых на себя по этому договору соревнователями, имелось и обязательство экономить электроэнергию. И вот именно на этом пункте, не надеясь переплюнуть гостиницу "Красная" по другим показателям, и решила сосредоточить все свое внимание и силы администрация гостиницы "Дружба". Прежде всего было принято решение — с семи часов вечера и до восьми часов утра останавливать лифт.

Товарищ Верченко на собрании сотрудников обосновал это решение так:

— Этот чертов лифт — он, знаете, сколько киловатт энергии жрет? Он жрет, сукин сын, все равно как бригада биндюжников после трехсменной погрузки-выгрузки!..

Кто-то из зала робко напомнил Леонтию Кузьмичу, что в

договоре имеется также обязательство улучшить обслуживающие проживающих в гостинице постояльцев и обеспечить их всеми мыслимыми удобствами.

— Верно, правильно! — согласился Верченко и хитро прищурился. — А наш постоялец — он кто?! Мы на всяких там курортников-шмурртников ставки делать не будем. Наш постоялец — это человек рабочий, командировочный! Он приезжает в Одессу накоротке... Ему, соколу, за один день надо, может быть, в сто учреждений слетать. А учреждения до которого часа работают? До шести. Кладем еще полчаса, чтобы выпить и закусить. Получается, что не позже, чем без четверти семь, наш постоялец спокойненько может вернуться в гостиницу на заслуженный отдых. А лифт работает до семи. Все в порядке, все учтено! А которые желают не отдыхать, а прожигать жизнь — по ресторанам, по дамочкам, по театрам, — те могут и на своих на двоих, они у них не отсохнут!..

...Ноги у Таратуты, когда он добрался по полутемной лестнице до своего четвертого этажа, действительно не отсохли. Но чертыхаться он уже не мог, а только похрипывал.

На столике дежурной по этажу Лидии Феликсовны горела свеча.

Это была новейшая идея товарища Верченко. После того как на какой-то оптовой базе ему удалось за гроши купить партию елочных свечей, он издал приказ, запрещающий дежурным по этажам пользоваться настольными лампами. В пылу борьбы за переходящее знамя с гостиницей "Красная" Верченко замахнулся было и на свет в номерах постояльцев, но в последнюю минуту испугался жалоб и ограничился тем, что запретил освещать коридоры больше, чем одной люстрой.

— У нас тут не музей, — сказал Леонтий Кузьмич на очередном собрании. — Разглядывать нечего, стенки и стенки. А которым темно, могут, как на железной дороге, с фонарями ходить!..

...Дежурная по этажу Лидия Феликсовна сидела за своим столиком и что-то писала в толстой канцелярской книге, страницы которой были разделены на две половины: "Прибыл" и "Выбыл".

В зыбком свете свечи, с пером в руке, с седыми буколька-

ми, Лидия Феликсовна была похожа на Нестора-летописца, как его изображают в школьных учебниках, но только забывшего приклеить бороду.

В тощей груди Лидии Феликсовны — женщины немолодой и самостоятельной — жила одна-единственная страсть. И называлась эта страсть — ненависть.

Лидия Феликсовна ненавидела всех — директора гостиницы, его заместителя, старшего администратора, дежурных администраторов, швейцара, сменщиц по этажу. Но пуще всего ненавидела Лидия Феликсовна постояльцев гостиницы. Некоторое исключение она делала только для иностранных туристов. Но исключение это было чисто теоретическим. А практически — ну, какие же в гостинице "Дружба" иностранные туристы?! Разве что в горячую летнюю пору поселят горемык-туристов из Болгарии, Румынии, Польши — так ведь чем у них поживишься, они сами норовят спереть, что плохо лежит.

Впрочем, были в жизни Лидии Феликсовны три дня и три ночи, о которых она вспоминала с благоговением и сладкой тоскою.

...Несколько лет тому назад, в Одессу, по приглашению Черноморского пароходства, приехал из Финляндии представитель фирмы, изготовляющей какие-то особые пластики, господин Паулу Виремяйнен. Выглядел этот представитель и вправду необыкновенно представительно — высокий, седовласый, улыбчивый, вежливый.

Поселили его в гостинице "Черноморской" (бывшей "Лондонской"), принимали по-царски — возили на экскурсии в каткомбы, водили в оперный театр, кормили, поили.

И не рассчитали — кормили чересчур уж обильно, поили слишком щедро, позабыв, что господин Паулу Виремяйнен прибыл из страны, где объявлен сухой закон и крепкие спиртные напитки продаются по карточкам и притом в весьма ограниченном количестве.

Уже на третий вечер гость пропал. Приставленный к нему ответственный сотрудник Черноморского пароходства обыскал и облазил всю гостиницу, прочесал Приморский бульвар и Дерибасовскую, позвонил в полном отчаянии куда следу-

ет — и на подмогу ему были присланы двое молодых людей с бесстрастными лицами и пронзительными глазами.

Господина Паулу Виремяйнена удалось обнаружить в полночь в каком-то замызганном привокзальном шалмане.

Он сидел за столиком в полном одиночестве, приканчивал, как сообщил официант, вторые пол-литра и, подперев подбородок щеку ладонью, нежным и жалобным голосом пел бесконечную песню.

— Ты что же это, сукин сын, — сказал один из бесстрастных официанту. — Нарушаешь постановление?! На человеко-единицу разрешается двести грамм от силы, а ты ему цельный литр скормил?!

— Так они же будут нерусские! — сказал официант. — На их постановление недействительно, они валютой платят...

Бесстрастные отобрали у официанта финские кроны, составили протокол и погрузили господина Виремяйнена в оперативную машину. По дороге в гостиницу знатный гость допел, наконец, свою печальную песню и полез целоваться к шоферу. Шофер шепотом матерился и отплевывался, но терпел.

И с той полночи господина Паулу Виремяйнена в трезвом виде уже не видал больше никто.

На следующий день состояние печальной задумчивости перешло в буйство.

Знатный гость, для начала, переломал в номере мебель, потом, завернувшись в сорванную с окна занавеску, принялся шататься по коридорам гостиницы и пытался в этом одеянии пройти в ресторан.

В ресторан его не пустили, отвели под уздцы в номер и заперли.

Тогда он забаррикадировал двери номера шкафом, распахнул окно и в совершенно голом виде — а дело, надо сказать, было зимой — уселся на подоконник и, ежесекундно рискуя свалиться, стал размахивать руками и что-то кричать.

Под окном, разумеется, собралась толпа.

Администратор гостиницы после безуспешной попытки ворваться в номер вызвал пожарную команду.

В итоге всех этих сокрушительных событий господин Виремяйнен, снятый с окна пожарниками, улегся спать на полу,

а некое учреждение в Одессе позвонило в некое учреждение в Москве и со слезами в голосе спросило — что делать?

Некое учреждение в Москве пообещало связаться с Министерством иностранных дел, но посоветовало, пока суд да дело, перевести господина Виремяйнена из гостиницы "Черноморской", находящейся в ведении "Интуриста", в какую-нибудь гостиницу попроще, попроще, местного значения, с глаз подальше.

Вот так и попал знатный гость из Финляндии в гостиницу "Дружба", на четвертый этаж в номер четыреста восемнадцать, вот так и начались те самые три дня и три ночи, о которых с такою сладкою тоскою вспоминала Лидия Феликсовна.

Водворенный в гостиницу "Дружба" господин Виремяйнен в ускоренном темпе повторил две первые степени опьянения — печальную задумчивость, буйство, а затем, не мешкая, погрузился в третью степень — молчаливую плаксивость. В редкие часы, когда Виремяйнен не спал, он сидел на кровати в одних боксерских трусах, и, закрыв руками лицо, всхлипывал и что-то негромко бормотал. Он переставал плакать только в то мгновение, когда с умильной улыбкой на устах входила в номер Лидия Феликсовна. На черном, "под Палех" лакированном подносе, на котором были изображены Спасская башня Кремля и колокольня Ивана Великого, Лидия Феликсовна приносила дорогому гостю очередной графинчик водки и закуску — бутерброды с килькой и маринованные огурчики.

Некое учреждение, узнав от товарища Верченко о наступлении у господина Виремяйнена третьей степени опьянения, распорядилось — поить буржуйскую морду по требованию и даже без требования, но ни под каким видом из номера не выпускать.

Товарищ Верченко, в свою очередь, бросил на выполнение этого ответственного задания Лидию Феликсовну.

Три дня и три ночи не уходила Лидия Феликсовна из гостиницы и не покидала своего поста на четвертом этаже. Она собственноручно чистила кильки и аккуратно укладывала их на ломтики хлеба, дотошно отбирала огурчики, настаивала вод-

ку на заветной анисовой травке и добавляла в графин для запаха несколько капель духов "Сирень".

Но и господин Виремяйнен, хотя и пьяный до изумления, тоже, надо отдать ему справедливость, не оставался в долгу. Ни единого раза не покидала Лидия Феликсовна номера четыреста восемнадцать с пустыми руками. Господин Виремяйнен дарил ей все, что попадалось ему на глаза — пижаму, махровое полотенце, крем для бритья, шариковую ручку, почти полный флакон одеколona "Кельнише Вассер", фотографии — свою, своей семьи, водопада Иматры и президента Республики Финляндии господина Кекконена.

Три дня и три ночи жила Лидия Феликсовна, как в волшебном сне.

Сплетник-швейцар утверждает, что слышал сам, как, шествуя по коридору с подносом в руках, она даже напевала — игриво и немзыкально — старую песню, переделанную ею на собственный лад:

— **Осенний сон, осенний сон,  
Как много дум наводит он!..**

Но на четвертые сутки этот волшебный осенний сон был нарушен — откровенно, грубо и навсегда.

Все те же бесстрастные молодые люди с пронзительными глазами приехали в гостиницу, прошли в сопровождении товарища Верченко в четыреста восемнадцатый номер, кое-как, небрежно, наспех собрали господина Виремяйнена и, преодолев его слабое сопротивление, увезли на аэродром.

Лидия Феликсовна выбежала за ними на улицу и долго стояла, прижав руки к груди, глядя вслед скрывшейся за поворотом, за снегом, оперативной машине.

Сплетник-швейцар окликнул ее:

— Лидия Феликсовна, простудитесь!

Она обернулась и тихо сказала:

— А мне теперь безразлично!..

...Все еще отдуваясь и тяжело переводя дыхание, Таратута молча протянул руку, но Лидия Феликсовна в ответ не отдала ему ключ от номера, а проговорила язвительно и высокомерно:

— Между прочим, гражданин Таратута, вы здесь живете не

первый день и должны были бы знать, что посторонним лицам выдавать ключи от номера не разрешается!..

— Это кто же здесь посторонний?! — обрета от удивления дар речи, спросил Таратута. — Это я — посторонний?!

— Я не имею в виду вас. Но приехали какие-то четверо и один из них — такой довольно интересный мужчина — сказал, что вы разрешили им взять ваш ключ.

— И вы им его отдали?

— Да.

— Но вы же знаете, Лидия Феликсовна, что посторонним лицам выдавать ключи от номера не разрешается?! — усмехнулся Таратута, возвращая разговор на исходную позицию.

— Так ведь это вы распорядились! — покрываясь красными пятнами, воскликнула Лидия Феликсовна.

— А кто я такой? — немедленно возразил Таратута. — Я рядовой постоялец. Какое право я имею распоряжаться?!

— Вот именно! — ощутив, наконец, твердую почву под ногами, сказала Лидия Феликсовна. — Именно это я и говорю! Вы не имеете права распоряжаться, чтоб отдали ваш ключ от номера, когда вы прекрасно знаете, что выдавать посторонним лицам ключи от номера не разрешается!

— Но ведь выдал-то ключ не я, а вы.

— Но вы распорядились.

— А кто я такой?!

Разговор опять явно забуксовал, как застрявшая в грязи машина, ни вперед — ни назад.

Таратута посмотрел на Лидию Феликсовну. Лидия Феликсовна посмотрела на Таратуту и, вдруг что-то вспомнив, сказала совсем другим тоном и почему-то понизив голос:

— Да, и еще... После того, как уже приехали эти четверо, к вам заходил еще один гражданин и просил — срочно, он сказал — передать письмо... Он даже потребовал, чтоб я расписалась в получении!

Таратута в недоумении оттопырил губы:

— Что за письмо! Что за срочность?!

Лидия Феликсовна достала из ящика стола довольно большой конверт с сургучной печатью, протянула его Таратуте.



На конверте затейливым, с завитушками, канцелярским почерком был написан адрес:

"Гр-ну Таратуте С.Я. Гостиница "Дружба", номер чetyреста восемнадцать. Очень срочно!"

Слова "очень срочно" были дважды подчеркнуты.

Таратута кивком головы поблагодарил Лидию Феликсовну, поправил сползшие набок очки и, не распечатывая конверта, направился в свой номер.

Еще издали, несмотря на то, что коридор был погружен в полумрак, Таратута увидел Валю-часовщика.

Валя стоял у дверей номера — без пиджака, без бантика, в рубашке с расстегнутым воротом и закатанными рукавами. Он стоял, по-наполеоновски скрестив могучие руки, и улыбался.

Когда Таратута подошел ближе, Валя-часовщик перестал улыбаться и проговорил громоподобным шепотом:

— Семен Янович, дорогой мой, сегодня такой день, что одни сплошные недоразумения!..

— А в чем дело? — спросил Таратута.

— Я вам, помните, говорил про Лидочку и Тонечку...

— Вы их не нашли?

— Нет, я их нашел. С Лидочкой у меня любовь. Вы можете смеяться, Семен Янович, но Лидочка — это женщина моей мечты. С другой стороны, если подходить к данному вопросу объективно, то она не такая красивая, как Тонечка. И я надеялся, Семен Янович, что вы от Тонечки получите полный максимум удовольствия...

— Так что же случилось?

Валя-часовщик печально покачал головой:

— Что случилось?! В этой жизни всегда что-нибудь случается! Я посадил девушек в машину, мы едем к вам, у нас хорошее настроение. И вдруг мы видим — у витрины магазина "Мясо" стоит пожилой человек и плачет. Лидочка его узнала первая. Она мне сказала — смотрите, Валя... Мы с ней на "вы", между прочим... "Смотрите, Валя, — сказала Лидочка, — это же Эдуард Аршакович Казарян!" Я останавливаю машину, выхожу и вижу — действительно, это Казарян, которого мы напрасно ждали на юбилее месье Раевского. Он стоит и

плачет. А я должен вам сказать, Семен Янович, что это очень страшно, когда плачут пожилые люди!.. Оказывается, у него был сегодня обыск. Явились эти бандиты из ОБХС, перевернули всю квартиру вверх дном, кое-что забрали, кое-что опечатали и взяли с Казаряна подписку о невыезде. А он одинокий, как собака, ему даже пожаловаться некому... Так я вас спрашиваю, Семен Янович, — если человеку, который стоит у витрины магазина "Мясо" и плачет, доставить немножко радости — это хорошо, это гуманно?! Ну, и мы пригласили его с собой... И мы...

Внезапно, оборвав свой монолог на полуслове, Валя-часовщик уставился на конверт с сургучной печатью, которым рассеянно, как веером, обмахивался Таратута.

— Ой, я знаю этот конверт! — шепотом пропел Валя-часовщик. — Ой, я очень хорошо знаком с этим конвертом. Когда вы его получили? Семен Янович?

— Только что. Я еще даже не успел его распечатать.

— Распечатайте! — сказал Валя-часовщик. — Немедленно распечатайте. Вы же видите, там написано — очень срочно!..

Таратута, пожав плечами, содрал сургуч, открыл конверт и достал почтовую открытку.

— Так я и думал! — выдохнул Валя-часовщик. — Что в открытке?

Таратута медленно прочел:

"Министерство внутренних дел УССР. Одесский отдел виз и регистрации, улица Бабеля пять. Таратуте С.Я. Просьба явиться в среду, третьего октября, в десять часов утра, к товарищу Захарченкову, имея при себе паспорт и военный билет. Ваша явка обязательна."

— Среда — это завтра! А товарищ Захарченков Василий Иванович — это начальник ОВИРа! — сказал Валя-часовщик и торжественно поднял руку. — Семен Янович, дорогой, вас сам Бог послал — и я это почувствовал сразу!..

Он обнял Таратуту за плечи:

— Идемте!

— Куда?! — отстранился Таратута. — В номер?

Валя-часовщик усмехнулся:

— Нет, зачем же в номер? В номере сейчас лично вам де-

лать нечего. Но вы не беспокойтесь, Семен Янович, я о вас подумал — я налил вам ванну... Вы можете полежать и отдохнуть от всех этих кошмарных переживаний! Тем более, что завтра вам, очевидно, кое-что предстоит!

— Черт возьми! — пробормотал Таратута и перечитал во второй раз загадочную открытку. — Не понимаю... Для чего я им так срочно понадобился?!

— Завтра, в десять утра, вы все узнаете! — снова шепотом пропел Валя-часовщик. — А до завтра осталось уже всего ничего... И не надо мучиться над вопросами, на которые все равно отвечаем не мы!.. Идемте, Семен Янович!..

...В маленькой ванной комнате, дверь из которой выходила прямо в прихожую, Валя-часовщик, подсучив еще выше рукав рубашки, наклонился над ванной, попробовал локтем воду, сказал деловито и озабоченно:

— Если вам покажется, Семен Янович, что прохладно — так можно подбавить горяченькой!..

Но Таратута не ответил.

Слегка приоткрыв рот и сдвинув брови, он смотрел на едва заметный синий шестизначный номер, вытатуированный на могучей руке Вали-часовщика и выползший из-под засученной рубашки.

— Что это, Валя?

— Где?

— Вот, — сказал Таратута и ткнул пальцем в номер.

— Э-э! — небрежно сказал Валя-часовщик. — Ерунда! Мои родители — они были великие умники. В июне сорок первого года они отправили меня погостить к бабушке, в Вильнюс. Ну, так четыре года я прожил в гетто, бабушка умерла, а я... Одним словом — ничего интересного, Семен Янович! Можете мне поверить!

Он снова наклонился и попробовал локтем воду:

— Я думаю, что все-таки нужно немножко подбавить горяченькой!..

...Больше всего на свете Таратуте в это мерзкое, дождливое утро хотелось спать.

Всю дорогу — от гостиницы "Дружба" до улицы Бабея — он мучительно боролся с зевотой и с желанием плюнуть на

все, вернуться в номер, упрямить коридорную сменить белье и упасть, как в обморок, в сон.

В сущности, он почти всю ночь пролежал в ванне, в холодной воде — вопреки совету Вали-часовщика, он не стал подливать горячей, чтоб не уснуть и не захлебнуться, — стараясь не слышать и слыша, как звенят за стеной стаканы, гудят мужские голоса и заливаются русалочьим смехом девицы.

По временам Валя-часовщик просовывал в полуоткрытую дверь ванной комнаты кудлатую голову и спрашивал бесстыдно и бодро, как сержант-сверхсрочник:

— Ну как, Семен Янович, отдыхаем?!..

Таратута в ответ бормотал что-то невнятное, и Валя-часовщик, хохотнув, скрывался.

Уже под утро Таратута все-таки ненадолго задремал.

Ему даже приснился сон — необъятная лужа у палатки "Пиво-воды" и длинная, бесконечно длинная улица, круто уходящая в гору. Он бежал по этой улице быстро, молча, а за ним, преследуя его, бежали не Валерик и Толик, а двигалась целая армия — с броневиками, танками, дальнбойными орудиями — и во главе этой армии, впереди, ехал на трехколесном велосипеде Валя-часовщик в черном пиджаке, с черным бантиком-бабочкой и весело улыбался.

— Семен Янович!

Таратута через силу продрал глаза и увидел, что в дверях ванной стоит Валя-часовщик в черном пиджаке и с черным бантиком-бабочкой.

Он словно бы перешел из сна в явь и сделал это настолько естественно, что Таратута даже не очень удивился.

— Дорогой Семен Янович! — сказал Валя-часовщик и церемонно поклонился. — Позвольте мне от имени Лидочки и Тонечки, от имени Эдуарда Аршаковича Казаряна и от себя лично выразить вам наши извинения и глубокую сердечную благодарность!

— Служу Советскому Союзу! — сказал Таратута и лязгнул зубами от холода. — Готов выполнить любое задание Партии и Правительства!

Но Валя-часовщик, утомленный любовными утехами, юмо-

ра не оценил. Он просто снова поклонился и притворил за собой дверь.

...Еле волоча ноги, Таратута доплелся до улицы Бабеля.

Дом номер пять найти было нетрудно.

У ворот этого дома группами, оживленно переговариваясь и жестикулируя, стояли евреи — молодые и старые, интеллигенты и оборванцы женского, мужского и среднего пола.

Некоторые, особенно молодые, носили бороды, пейсы и традиционные бархатные шапочки — кипы.

Увидев Таратуту, они все на мгновение замолчали; проводили его глазами, когда он вошел во двор, и кто-то в спину ему сказал:

— Отказник из профессоров, чтоб я так жил!..

Молоденький, очень важный милиционер-казах у входа в ОВИР внимательно прочитал открытку, которую показал ему Таратута, подумал, потом зачем-то козырнул и сказал:

— Вам, гражданин, на второй этаж.

Едва только Таратута поднялся на второй этаж и вошел в зал, битком набитый людьми, как громкий, металлический голос, усиленный двумя висевшими на стене динамиками, сказал:

— Таратуту Семена Яновича, если он здесь, просят пройти в комнату номер двенадцать!..

В зале немедленно начался галдеж:

— Таратута?!.. А кто такой Таратута?!

— Послушайте, вы не видели Таратуту?!

— Где Таратута?!

Из общего шума выделился звонкий женский голос:

— В конце концов это хамство! Таратута Семен Янович, где вы?..

Не отвечая, Таратута, ожесточенно орудуя локтями, начал продираться сквозь толпу к дверям, обитым черной клеенкой, на которой сияла золотая цифра двенадцать.

Он был уже почти у цели, когда дорогу ему преградил маленький востроухий человек в лыжной куртке, украшенной каким-то совершенно невероятным количеством

молний. Уперев Таратуте в грудь длинный указательный палец, человек-молния строго спросил:

— Одну минуточку, это вы — Таратута?

— Я, — признался Таратута.

— Вы что же не слышите, что вас вызывают?

— Слышу.

— Так почему же вы не идете?

— Я иду.

— Ну, так идите!

— А вы перестаньте тыкать мне в грудь пальцем! — обозлившись, гаркнул Таратута.

Человек-молния обиделся:

— Ах, так это, оказывается, я виноват?! Люди — и между прочим, постарше вас — занимают очередь чуть не со вчерашнего вечера. Они приходят, они сидят, они ждут — но их не вызывают. Вызывают вас, а вы не идете! Так кто же виноват, хотелось бы мне знать?!

Таратута двумя руками взял человечка-молнию за плечи, молча, как шахматную фигуру, переставил его с одной паркетной клетки на другую, усмехнулся:

— Слон бьет на же семь!

Потом он шагнул вперед, толкнул заветную дверь и громко сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, Семен Янович!..

...Если бы в системе Министерства внутренних дел проводились бы конкурсы красоты на звание "Мистер ОВИР", то подполковник Василий Иванович Захарченков, начальник Одесского ОВИРа, не имел бы соперников.

— Красавчик! — звали его за глаза подчиненные.

— Вася-Василек, — говорила ему любящая жена Марина, боевой друг и товарищ, — тебе бы в кино, Василек, сыматься! Против тебя никакой Радж Капур не потянет!

Имя этого индийского киноактера упоминалось не случайно. Был Василий Иванович черняв, белозуб, с глазами бессмысленными и прекрасными. Но, в отличие от тщедушного Раджа Капура, Василий Иванович унаследовал от своих сибирских дедов и прадедов, прасолов казачьего корня, мо-

гучую статью, грудь колесом, широкие плечи борцовского разворота. Картинная эта внешность в сочетании с характером исполнительным и покладистым и были одной из причин, если не главной, быстрого продвижения Василия Ивановича по служебной лестнице вверх.

— Глуп, но надежен, — написал на его личном деле начальник четвертого Управления МВД УССР генерал-лейтенант Ильин.

И написал он это, между прочим, явно несправедливо.

Василий Иванович Захарченков был отнюдь не глуп. Просто ему по занимаемой должности никакого ума не требовалось. А не требовалось, так и не надо.

Ну, в самом деле, какая еще такая необходима сообразительность, чтобы, ознакомившись с решением, присланным из Киева (или из Москвы), сообщить очередному безумцу, собравшемуся ехать куда-то к чертовой бабushке на край света, о том, что ему, безумцу, в его просьбе отказано.

В тех, куда как более редких случаях, когда из Киева (или из Москвы) приходил положительный ответ, сообщать о нем Василий Иванович предоставлял своим младшим сотрудникам-инструкторам.

— Сказать "да" — это всякий дурак может! — объяснял Василий Иванович любящей жене Марине. — А вот сказать "нет" — это, милая моя, дело тонкое!

Говоря "нет" Василий Иванович, как правило, улыбался. И вовсе не от высокомерия или злорадства, совсем наоборот. Ему совершенно искренне было жаль этих чудаков, рвущихся из прекрасного мира, где все так хорошо, разумно и справедливо, в неведомый страшный мир хаоса и насилия — и сообщение об отказе он воспринимал как спасение очередной заблудшей души. И улыбался.

Одному почтенному еврейчику, заслуженному артисту, маэстро, который на своей родной скрипочке пиликал даже по радио, Василий Иванович видя, как тот переживает отказ, сказал дружелюбно и участливо:

— Ну, что вы убиваетесь?! На кой вам этот Израиль?! Чем вам у нас плохо?!

Но маэстро Скрипочкина от этого вполне дружеского воп-

роса почему-то всего перекосило, он зыркнул на Василия Ивановича бешеными глазами и сказал, заикаясь:

— Вот именно поэтому!..

Василий Иванович не понял, что он имел в виду, но с тех пор решил в откровенные разговоры с психами не вступать и придерживаться раз и навсегда установленного порядка:

— Мы внимательно рассмотрели ваше ходатайство, и я уполномочен вам сообщить, что вам отказано... Следующее заявление можете подавать через год со дня отказа... До свиданья!

Иногда какой-нибудь не в меру ретивый еврейчик спрашивал:

— А могу я обжаловать это решение?

Василий Иванович улыбался еще шире и дружелюбнее:

— Можете. Вы можете послать вашу жалобу в Президиум Верховного Совета, но там — должен вас предупредить откровенно — читать ее не будут, перешлют нам. Так что — сами понимаете!..

Но сегодня Василий Иванович Захарченков нервничал.

И надо же было этому Ершову из 12-го отделения явиться к нему вчера со своими дурацкими идеями, и надо же было, чтобы азартная кровь прадедов ударила Захарченкову в голову в самую неподходящую минуту.

Выслушав Ершова, Василий Иванович позвонил в Киев, из Киева его, как водится, переадресовали в Москву, а Москва, к полному изумлению Захарченкова и Ершова, сообщила причудливо-суконным языком, возвышенно-канцелярским слогом о том, что в данное время как раз изучается проект общего решения вышеупомянутой и нижепоименованной проблемы, что конкретный вопрос, поднятый товарищами из Одессы, идеально вписывается в этот проект и что их звонок как нельзя более кстати — так сказать, инициатива снизу, поддерживающая инициативу сверху.

Василий Иванович с пылающими ушами поинтересовался, а как ему следует поступить, если возникнут трудности.

Москва, похмыкав, ответила, что дело это новое, экспериментальное, что на первых порах товарищам на местах предоставляются самые широкие полномочия — разумеется, в разумных пределах.

— Ты чего это. Василек, ворочаешься?! — проворчала глубокой ночью любящая жена Марина, боевой друг и товарищ. — Это надо же — из-за евреев не спать! Все несчастья от них, честное слово!..

— Ну, не скажи, Марина, не скажи! — возразил Василий Иванович. — Всяко бывает! Есть такие, знаешь, русские, что даже хуже евреев!..

...И вот теперь подполковник Василий Иванович Захарченков сидел за письменным столом в своем служебном кабинете, бесцельно перекладывая то справа налево, то слева направо, какие-то бумаги, хмурил соболиные брови и все не решался открыто поглядеть на этого Таратуту Семена Яновича, из-за которого он провел сегодня бессонную ночь.

Наконец он поджал губы, расправил богатырские плечи и без надобности громко сказал:

— Так вот, Семен Янович... Мы пересылали ваше дело в Москву, там с ним ознакомились и приняли положительное решение — вы можете ехать!..

— Ехать? — спросил Таратута сдавленным голосом, поскольку новость эта застигла его в самом начале сладчайшего зевка. — Куда ехать?

— Как это, Семен Янович, куда? В Израиль! — твердо сказал Захарченков, впервые поглядел на Таратуту и удивился. — "Где-то я встречал этого подлеца! — мельком подумал он. — Не вспомню сейчас — где и при каких обстоятельствах, но личность определенно знакомая! Ох, Ершов, Ершов! Ох, подведешь ты меня, Ершов, под кузькину мать!.."

А Таратута, как всегда, когда ему бывало необходимо выиграть время, снял очки и принялся их тщательно протирать. Он делал это так долго и нудно, что Захарченков, на всякий случай, повторил:

— В Израиль, Семен Янович!

— А зачем?! — ухмыльнулся Таратута, все еще продолжая протирать очки. — Для чего мне туда ехать?

— На вашу историческую родину, Семен Янович! — сказал Захарченков. — Для воссоединения семьи.

— Здравсьте! — нагло сказал Таратута, надел очки, уселся поудобнее и вытянул ноги. — Во-первых, я далеко не уверен

в том, что Израиль моя историческая родина. Может быть, моя историческая родина — это Огненная земля или мыс Доброй Надежды. Ву компрене?! А во-вторых, никаких родственников у меня в Израиле нет.

— Нет?! — улыбнулся по привычке Захарченков и сразу же почувствовал себя увереннее и спокойнее. — Так-таки и нет?

—Нет.

— Любопытно!

Захарченков открыл лежавшую перед ним на столе папку-скоросшиватель, перелистал какие-то бумажонки, снова улыбнулся:

— А вот, между прочим, у меня тут имеется заявление от гражданина Таратуты Семена Яновича. Датировано двадцатым ноября тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года. И в этом заявлении гражданин Таратута Семен Янович просит, чтоб ему разрешили выехать на его историческую родину в Израиль для воссоединения семьи...

— Но...

— Минуточку! — строго сказал Захарченков. — И тут же приложенный к заявлению имеется вызов — он, правда, устарел, — но это мелочь, — вызов Семену Яновичу Таратуте от его двоюродного брата Симона Сокольского, проживающего в Израиле, в городе Тель-Авиве, улица Алленби, двенадцать... Улыбаясь все шире и слаще, он уже без боязни в упор поглядел на Таратуту:

— Как же прикажете все это понимать, Семен Янович? Мне бы не хотелось понимать так, что вы имели намерение нас обмануть!

Таратута подтянул ноги и сказал:

— Ну, зачем же — обмануть?! Все это значительно сложнее...

— Правильно! — сказал Захарченков. — Вернее, было сложно, стало — просто. Придется мне повторить то, с чего я начал — ваш вопрос в Москве решен положительно, и вы можете ехать.

— Я не могу ехать, — тихо и растерянно сказал Таратута.

— Можете-не можете, а должны! — усмехнулся Захарченков. — Виза, которую вы получите в Москве, действительна

пять дней, по восьмое октября. Если вы не уедете седьмого или, в крайнем случае, утром восьмого — вы будете задержаны как лицо без подданства, нелегально находящееся на территории Советского Союза, со всеми вытекающими отсюда последствиями!..

Он победоносно тряхнул головой и не без ехидства сказал:

— Вы спросили меня, Семен Янович — вы компрене?! Мыто, как видите, компрене! А вы?!

Наступило молчание.

Таратута, опустив голову, с преувеличенным вниманием разглядывал носки своих заляпанных грязью польских туфель, а Захарченков, скосив на Таратуту глаза, по-прежнему безуспешно пытался припомнить, кого ему напоминает этот очкарик.

Оба они — и Захарченков и Таратута — были сейчас похожи на боксеров в ту короткую минуту отдыха, после схватки, когда спасительный гонг развел их по разным углам, и они сидят, расслабившись, жадно глотая воздух, и благодатные руки массажистов разминают им плечи и спину, и влажная губка смачивает им опаленные лица, и что-то нашептывает им секундант, что-то очень важное, но что уже не имеет теперь ни малейшего значения.

Если продолжить это сравнение, то первый раунд сегодняшней схватки совершенно очевидно остался за Василием Ивановичем Захарченковым. Но он понимал, что это только начало, что его противник еще не показал все, на что он способен, еще не выложил на стол все свои козыри, не пустил в ход главное оружие.

И, словно почувствовав эти опасения Василия Ивановича, Таратута оторвался от созерцания своих ботинок, вздохнул и сказал:

— Я не поеду. Не хочу... В конце концов вы не имеете никакого права насильно заставить меня уехать.

— Смотря — куда! — сказал Захарченков и значительно поглядел на Таратуту.

— Это что же — угроза?

Захарченков усмехнулся:

— Нет, Семен Янович, это не угроза. Это просто, так сказать, железный факт! Вы же не маленький, вы же, слава богу, прекрасно все понимаете сами!..

И тут, чтобы не дать противнику прийти в себя, Василий Иванович заговорил быстро, решительно и деловито:

— Значит, сегодня вечером вам нужно будет выехать в Москву... С самолетом связываться не советую, можно застрять, а у нас каждая минута на счету... Сегодня у нас третья, среда, в Москве вы четвертого — и это уже четверг и у вас, в сущности, остается неполных два дня на все оформление — получение документов в ОВИРе, получение виз в Голландском и в Австрийском посольствах, билет на самолет до Вены, сдача багажа... Хотя вы человек одинокий, вещей у вас, небось, не так-то уж много, чемодана два-три...

— Чемодан у меня один! — резко перебил Таратута. — Не в этом дело. Я не хочу ехать... И, кстати, если бы я даже и хотел, я не могу ехать.

— Почему?

Таратута развел руками и с обезоруживающей улыбкой сказал негромко и четко:

— У меня нет денег.

—Что?!..

— Нет денег!

Василий Иванович растерялся. Именно этого наипростейшего обстоятельства он не предвидел и не учитывал, готовясь к сегодняшней операции, которой они с Ершовым, развеселившись после звонка в Москву, дали кодовое название "Баба с воза".

— Нет денег?! — тупо переспросил он. — Совсем нет?

— Ну, совсем-не совсем, — кротко сказал Таратута, — но того, что есть — хватит только на билет до Вены. Вот — пожалуйста...

Он вытащил из кармана бумажник, пересчитал имевшуюся в нем наличность, печально усмехнулся:

— Двадцать четыре рубля... Ну, и еще рубля на два мелочи... Это наличные... И на сберегательной книжке — сто сорок... И все! А за одну визу, насколько мне известно, надо заплатить четыреста. За выход из гражданства — пятьсот. Это

уже девятьсот. Теперь — налог на образование... Или он отменен?

— Не отменен, но имеется указание, чтоб временно не взыскивать, — с убитым видом пробормотал Василий Иванович.

— Ладно, — охотно согласился Таратута, — налог на образование не считаем... Но мне, все равно, даже и без налога, недостает — и это по крайней мере — тысяча рублей... Как же я могу ехать?!

Таратута спрянул бумажник в карман и, еле удержавшись, чтобы не подмигнуть Василию Ивановичу, встал, как бы давая понять, что разговаривать им больше решительно не о чем.

— Подождите, Семен Янович, подождите, не торопитесь! — почти испуганно сказал Захарченков.

— Пожалуйста, — сказал Таратута и сел.

Снова наступило молчание. Только теперь уже Таратута искоса разглядывал Василия Ивановича, а Захарченков, понимая, что второй раунд боя проигран им начисто, в пух и прах, лихорадочно соображал, как ему выпутаться из этого глупейшего положения.

Ничего не придумав, он, на всякий случай, спросил:

— Неужели вам не у кого одолжить?

— У кого, например?! — со смешком поинтересовался Таратута.

— Ну, я не знаю... Все у кого-нибудь одалживают... Люди имеют родственников, знакомых...

Таратута печально покачал головой:

— Вот, вот! А у меня, представьте себе, как раз никого — ни знакомых, ни, тем более, родственников... И кстати, не кажется ли вам, что все это очень странно — у людей есть родственники и знакомые, есть желание уехать и есть даже деньги, чтобы за это желание заплатить, — но им разрешение не дают... А я без денег и никуда уезжать не хочу, и меня, прямо-таки, выталкивают... Да еще так внезапно!.. Почему? Зачем? В чем тут секрет?..

— Никакого тут секрета нет! — сердито сказал Захарченков. — Заявления на выезд рассматриваются в порядке оче-

реди... Ваше заявление давнее; подошла очередь, рассмотрели, решили — пожалуйста, можете ехать...

— Так ведь мне уже один раз отказали.

— Тогда отказали, теперь разрешили! — еще сердитее сказал Захарченков. — Между прочим, а на что вы тогда рассчитывали, если вы такой бедный?! Деньги-то все равно надо было платить...

— Тогда у меня были друзья, которые могли мне помочь. А теперь — одни знакомые. Да и то, знаете, такие, у которых больше, чем на пять рублей до полочки не разживешься... Они сами только и глядят — у кого бы стрельнуть...

— Ну, а по пятерке-то они дадут? — деловито поинтересовался Захарченков.

— По пятерке, может быть, дадут.

— Тогда так...

Захарченков задумчиво, двумя пальцами, оттянул нижнюю губу, посмотрел на Таратуту:

— Есть такая поговорка: не имей сто рублей, а имей сто друзей — у каждого друга займешь по три рубля, будет триста рублей!

Он деланно засмеялся:

— Так вот, Семен Янович, что я хотел бы вам посоветовать...

— Есть и другая поговорка, — резко перебил Таратута, — советы нужны Ротшильду! Ему, Ротшильду, нужен хороший совет и ничего больше... А нам нужны деньги и еще многое другое! Вы что же думаете, что я буду, высунув язык, бегать, как заяц, по всему городу и одалживать копейки, чтобы ехать в какой-то Израиль, за тридевять земель, куда-то...

И вдруг Таратута запнулся.

И вдруг он вспомнил: летние сумерки, могучая старая липа, залезавшая ветвями в открытое окно, и вальс "Дунайские волны", который играл самодеятельный студенческий оркестр в беседке на Чистых прудах. Они — Аглая Николаевна, Адель и Семен — уже несколько вечеров подряд читали вслух, по кругу, колониальный роман Клода Фарера, действие которого происходило в Алжире. И, дочитав последние строчки, Аглая Николаевна отложила в сторону книжку,

закурила, помолчала и сказала каким-то внезапно тоненьким девчоночьим голосом:

— Дальние страны! Дальняя дорога! А я вот никогда, кроме Свердловска, нигде не была... Даже в Болгарии... Теперь все почему-то ездят в Болгарию! Вы непременно, дети мои, непременно должны отправиться когда-нибудь в дальнюю дорогу, в дальние страны! Пообещайте мне, пожалуйста! И Адель с Семеном дружно ответили:

— Обещаем!

И еще, уже в Одессе, был другой вечер, когда они сидели вдвоем — Таратута и Леня Каплан — в пассажирском порту, на пирсе, а далеко в море — по линии горизонта, как по линейке, — плыл белый пароход.

— Синее море, белый пароход! — пропел Леня первую строку из старой, времен Гражданской войны, частушки и невесело засмеялся. — Ты знаешь, Семен, мы, одесские Капланы, не семья, а династия. Нас было когда-то так много, что все скрывали день своего рождения. Кого-нибудь не позвать — обидеть, а позвать всех — для этого нужно было снимать, по крайней мере, Оперный театр. И только однажды, на моей памяти, вся династия собралась вместе. Это было как раз здесь, на пристани. Мне было тогда лет пять, но я этот день очень хорошо помню. Два моих дядьки — Роман и Лазарь, братья отца — уезжали в Палестину, в Израиль. А мы их пришли провожать. Прабабушку принесли в кресле, представляешь?! Мой отец и еще один его брат, Натан, так прямо — в кресле — и несли ее по всему городу сюда, на пристань. И вот, мы стояли здесь, а Роман и Лазарь — на борту парохода... Мы стояли молча — больше ста человек, наверное... И никто не плакал. А когда стали убирать сходни, Роман — он был старший — крикнул: "Приезжайте! Мы будем ждать!"... И с той самой поры Израиль для меня, это — страна, куда уплывает из моего детства белый пароход по синему морю и где меня ждет мой дядька Роман!..

Леня снова невесело засмеялся, взъерошил пятерней седые волосы:

— Между прочим, его убили в сорок шестом году...

...И Таратута, чувствуя где-то под ложечкой знакомый

озорной холодок, сказал, глядя в упор на Василия Ивановича Захарченкова:

— Вот, что мне сейчас пришло в голову... А может быть, вы мне одолжете эти деньги?

— Я?! — шепотом от удивления спросил Захарченков.

— Ну, не вы непосредственно, а организация, ведомство, министерство, которое вы представляете. Если вам зачем-то нужно, чтоб я уехал,— вы и платите!

Эти нахальные слова Таратуты произвели на Василия Ивановича Захарченкова неожиданно-странное воздействие. Как и вчера, когда они звонили с Ершовым в Москву, удаляя кровь казацких предков ударила ему в голову, он весь как-то набычился, тяжело задышал, уперся кулаками в крышку стола и, с ненавистью глядя на Таратуту, глухо спросил:

— Так сколько, вы говорите, у вас есть?

— Чего? Денег? Денег у меня ровно, как в аптеке, сто шестьдесят четыре рубля сорок копеек.

Василий Иванович сузил глаза, что-то быстро прикинул в уме, грохнул кулаком по столу и решительно, понимая, что катится в пропасть, но не давая самому себе времени, чтоб одуматься, проговорил:

— Ладно! Давайте так — выкладывайте триста рублей, остальное доложим мы! По рукам?

— А откуда ж я возьму триста рублей? — ухмыльнулся Таратута.

— Сто шестьдесят у вас есть?

— Сто шестьдесят есть. И еще даже — четыре рубля сорок копеек.

— Ну, копейничать мы не будем, — великодушно махнул рукой Захарченков. — Советская власть, как... кое-кто, извините за выражение, из-за копейки не удавится! Сто шестьдесят у вас есть, сто сорок достаньте и — полный вперед!

Таратута вздохнул и пожал плечами:

— А откуда же я достану сто сорок?

— Одолжите. Соберите. Это уж надо быть... Я просто не знаю, кем, чтоб не суметь в Одессе достать сто сорок рублей... Ну, ладно, ладно, ну, пожалуйста, доложите девяно-



сто, чтоб у вас было ровно двести пятьдесят. Это как раз на самолет до Вены и на обмен валюты... Договорились?

— Опять двадцать пять за рыбу деньги! — еще нахальнее, чем прежде, сказал Таратута и даже позволил себе язвительную улыбку. — Я уже сказал вам — никаких денег я доставать не намерен. Хотите — доплачивайте за меня, не хотите — не доплачивайте.

— Хорошо, — после паузы, тихо, все еще тяжело дыша, сказал Василий Иванович. — Хорошо! — не своим голосом закричал он в припадке того сумасшедшего отчаянного восторга, с которым бросаются голой грудью на колючую проволоку, с которым прадеды его — прасолы, обжулив хмельного бедолагу, рвали черными пальцами рубаху на потной груди, бросали шапку оземь и топтали ее сапогами. Это второе "хорошо" Захарченков прокричал так громко, что за дверью, в приемном зале, откуда все время доносился глухой и ровный, как из предбанника, гул, наступила мгновенная тишина.

— Хорошо! — в третий раз, азартно блестя бессмысленно-прекрасными глазами, сказал Василий Иванович. — Идите, собирайтесь. Поезд в Москву отходит в двадцать два пятнадцать. Билет вам доставят прямо в гостиницу. Завтра, по приезде в Москву, вам следует... Впрочем, я скажу инструктору — он вместе с билетом передаст вам памятную записочку — что, где, когда... Вот и все, до свиданья, идите!

Он сгорбился, обмяк, опустил сразу погасшие глаза и почти попросил:

— Идите! Идите, чтоб я вас больше не видел.

Таратута встал, потоптался на месте, оглядел кабинет Василия Ивановича и, вспомнив рассказ месье Раевского, спросил:

— Между прочим, вы не знаете — а что здесь, в вашем помещении, было до революции?

Не поднимая глаз, Василий Иванович Захарченков ответил скорбно и глухо:

— Здесь — был всегда сумасшедший дом!

Итак, он уезжает.

И это не придремалось, не причудилось, не пригрезилось.

Дальняя дорога, как Валя-часовщик, перешла из сна в явь, и вот она лежала на столе в конверте — дальняя дорога — шестерочка пиковая — билет на скорый поезд Одесса-Москва, отправление третьего октября, в двадцать два пятнадцать, пятый купейный вагон, место одиннадцатое — нижнее.

И вещи, уже готовые тронуться в путь, стояли рядком, на незастеленной постели — чемодан, перехваченный ремнем, вещевого мешок и авоська, нейлоновые ручки которой Таратута благовидно обмотал и стянул носовым платком.

— Без авоськи — ни шагу! — подумал он. — Еще ни один советский человек, сколько бы чемоданов он с собою ни вез, не сумел обойтись без авоськи!

Билет на поезд вместе с "Памятной запиской", составленной инструктором ОВИРа, принесли ему в гостиницу уже в полдень.

На то, чтобы уложить вещи, понадобился час — он, кстати, большую часть этого времени потратил на то, чтобы хоть как-то замести следы вчерашней Вальпургиевой ночи и разыскать под креслами и диваном раскатившиеся с опрокинутой доски шахматные фигурки. Одну белую пешку он так и не нашел. Жаль пешку! Прощай, пешка!

"Пешки — не орешки", как любил говаривать доктор Тарраш!" — вспомнил он дурацкое присловие, которое услышал впервые в Московском шахматном клубе от длинноногого и длинноногого мастера, обучавшего их, мальчишек-первокурсников, теории пешечных окончаний.

Тогда ему, Таратуте, довелось получить от мастера поощрительный щелчок по лбу за то, что он сумел решить знаменитый этюд Рети, где белый король, в одиночку, героически борется на два фланга с черным слоном и проходной пешкой... Прощай, пешка!

В "Памятной записке", среди прочих ценных указаний и советов, был и такой: "Не заходить, без особой надобности, на работу, в железнодорожный техникум. Кто надо, поставлен в известность, говорилось в "записке", а лишние разговоры — ни к чему!"

Вот и хорошо! Вот и превосходно! И нечего ему туда за-

ходить, и нечего ему там делать в этом железнодорожном техникуме! Прощай, железнодорожный техникум!

Да, ну а все-таки, а что ему делать в эти последние, оставшиеся до поезда девять часов? Куда их девать? Как ими распорядиться?

Все, что с Таратутой случилось вчера и сегодня, случилось так внезапно, так оглушительно-неправдоподобно, что он еще не успел понять, не успел разобраться — радоваться ему или печалиться, негодовать или покорно плыть по течению.

Там, в кабинете Захарченкова, в ОВИРе, он словно бы смотрел на все со стороны, словно бы играл в старую детскую игру — "Барыня прислала сто рублей, что хотите, то купите, "да" и "нет" не говорите, черного и белого не покупайте!"

Выиграл он или проиграл? Или, что больше всего похоже на истину, ничья повторением ходов?! Должно быть, ничья. Ничья, хотя бы уже потому, что пусть они — всегда безликие и безымянные (даже если и были у них имена и лица) — пусть они добились своего и вроде бы выиграли, но, во-первых, он заставил их самих заплатить за выигрыш, а, во-вторых, если уж говорить совсем откровенно, то он-то ничего, в сущности, не терял.

Его случай — был особенным случаем. Он уже прожил три жизни — в Свердловске, в Москве, в Одессе.

И это не были этапами, ступеньками, главами одного и того же существования, нет, это были именно три отдельных жизни, не имевших почти никакого касательства одна к другой. И только вторая — московская жизнь — оставила по себе пронзительную и светлую память, а Свердловск и Одесса, просто-напросто, были и прошли.

Он усмехнулся. Еще не начиная прощаться, он уже простился с Одессой.

В дверь постучали.

— Да? — сказал Таратута.

Вошла Лидия Феликсовна.

Она молча кивнула Таратуте и, надменно поджав тонкие сухие губы, принялась проверять инвентарные номера — круглые металлические бляхи, — прибитые к спинке дивана, к ручкам кресел, к ножке стола и к абажуру настольной лампы.

Эти инвентарные номера были почему-то предметом особой заботы Лидии Феликсовны, словно она подозревала постояльцев, что они только о том и думают, как бы им подменить гарнитур "Дружба народов" Рижского мебельного комбината на гарнитур "За мир и дружбу" Харьковского комбината или вовсе на какую-нибудь безвестную рухлядь.

Обычно Лидия Феликсовна приносила с собой толстую канцелярскую книгу и дотошно сверяла номера на инвентарных бляхах с номерами, записанными в книге. Но сегодня она ограничилась беглым осмотром. Так же наспех, небрежно и халтурно, проверила она одеяло, простыню, пододеяльник и наволочку, которые были проштемпелеваны с четырех сторон огромными, черными, навеки несмываемыми печатями.

— Кодекс кодексом, — говорил Леонтий Кузьмич Верченко, намекая на "Моральный кодекс строителей коммунизма, — но с клеймом — оно, знаешь, надежнее! Не сопрут и на базахолку не стащут!

Закончив осмотр номера, Лидия Феликсовна направилась в ванную.

— Не крал, не крал, честное слово! — закричал ей вслед Таратута. — Полотенца не крал, зеркало над умывальником не свинтил, туалетной бумаги целый рулон оставил!

— Вы напрасно острите, — снова появляясь в комнате, сказала Лидия Феликсовна. — Вы сдаете номер, а я обязана его принять... И, между прочим, недостает одного стакана...

— Подумаешь, стакан! — сказал Таратута. — Я выйду сейчас и куплю...

Лидия Феликсовна иронически подняла брови:

— Как это у вас все просто — выйду, куплю... Вы вот выйдете, а тут как раз ревизия! Обнаружат недостачу, кто виноват? Лидия Феликсовна виновата! Нет уж, гражданин Таратута, я должна составить акт...

— Составляйте, — вздохнув, сказал Таратута.

Лидия Феликсовна подумала, зябко поежилась и неожиданно махнула рукой:

— А-а, ладно, бог с ним — со стаканом!..

Она присела на валик дивана, снизу вверх, слегка наклонив голову, поглядела на Таратуту:

— Значит — уезжаете?

— Уезжаю, — сказал Таратута.

— А где вы будете жить?

— Пока — не думал, — улыбнулся Таратута. — Все это, знаете, так внезапно... Ну, буду, наверное, где-нибудь жить... Но ведь хочется и мир поглядеть...

— Это верно! — кивнула Лидия Феликсовна и, помолчав, добавила. — Может быть, даже и в Финляндии будете?

— Вполне возможно, — сказал Таратута. — А у вас там знакомые есть? Родственники? Хотите что-нибудь передать?

— Нет, нет, нет, — испуганно затрясла головой Лидия Феликсовна. — Что вы?! Откуда?! Я никого не знаю... Я только знаю, что там есть водопады. И господин Кекконен.

Она поспешно встала, протянула дощечкой руку:

— Ну, до свиданья! Счастливого вам путь!

— Мы еще увидимся — мой поезд — вечером, — сказал Таратута и, наклонившись, поцеловал Лидии Феликсовны руку.

Она хотела ее отдернуть, но не отдернула, прикрыла на мгновение глаза, тихо сказала:

— Спасибо!

Потом она вдруг спохватилась:

— Ой, совсем из головы вон... Вас непременно просил зайти к нему Леонтий Кузьмич!

...Кабинет Леонтия Кузьмича Верченко, заместителя директора гостиницы "Дружба", помещался на втором этаже, рядом с буфетом.

Когда Таратута вошел, Леонтий Кузьмич стоял в мрачном и глубококом раздумье, держась одной рукой за дверцу несгораемого шкафа. Одет он был, как всегда, причудливо и небрежно — без пиджака, в клетчатой рубашке, расстегнутой на могучей груди, в допотопных диагональных галифе, заправленных в толстые, деревенской вязки, шерстяные носки.

Увидев Таратуту, Леонтий Кузьмич просиял:

— А я, понимаешь, стою и думаю — рано еще или пора... Ну, а уж коли ты пришел, то, как говорится, сам бог велел!..

Он открыл тяжелую дверцу, достал из несгораемого шкафа бутылку "Столичной", тарелку с солеными огурцами и кислой капустой, перенес все это добро на стол и сказал:

— И не вздумай отказываться... Без посошка на дорожку я тебя, все едино, не отпущу!

Он сел, выдвинул рывком ящик письменного стола, достал две пластмассовые стопочки — голубую и красную, себе налил в голубую, а Таратуте, как гостю, придвинул красную.

— Ну, будь!..

И только теперь Таратута заметил, что Леонтий Кузьмич не то успел уже изрядно напощать с утра, не то еще не протрезвел с вечера.

— Давай, Семен!

Выпили. Покряхтели. Деликатно закусили огурчиком и кислой капустой. Верченко поискал глазами — обо что бы ему вытереть мокрые пальцы, не нашел ничего подходящего и вытер их об усы.

— Хитер! — сказал он и одобрительно подморгнув Таратуте. — Хорошо мне из ОВИРа позвонили, а то я бы и не знал...

— Я и сам не знал, — сказал Таратута.

— Хитер, хитер! — продолжал тягуче тянуть Леонтий Кузьмич и, вдруг наклонившись, сказал свистящим заговорщицким шепотом. — А я ведь тоже, между прочим, кое-где был, веришь — нет?! В Кон-стан-ти-но-по-ле! — произнес он по слогам и засмеялся. — Нас всей бригадой в каботажное плаванье брали... На "Михаиле Лермонтове"... Ну, приходим в Константинополь, а нам — увольнительную на берег, на шесть часов... Веришь — нет?! А в Константинополе этом, знаешь — чего пьют?! Они, черти маринованные, денатурат пьют. И не скрывают. Так прямо на бутылке и нарисовано — череп и две кости! Ну, мы, как на берег сошли, взяли по бутылке на личность, выпили тут же, на пирсе, и закосели... Хотим добавить, а денег не хватает... Ну, мы обиделись и на корабль вернулись, часа не прошло... Нас помполит хвалил потом за это и другим в пример ставил... А что, Семен, в Израиле пьют?

— Понятия не имею, — сказал Таратута. — Я далеко не уверен, что там вообще пьют.

— Ну, как это может быть?! — удивился Леонтий Кузьмич и даже слегка пригорюнился. — Ну, зачем ты, Семен, такие глупости говоришь?!

— Жарко там очень. Я вот читал, что...

— Ты за прошлое читал! — перебил Леонтий Кузьмич и снова повеселел. — Ну, раньше они возможно, что и не пили... А уж теперь, когда наши туда понаехали... И это, знаешь, неважно — евреи, не евреи... Важно, что советские! А жара, я тебе скажу, так это хорошо даже. Жара — она только крепости добавляет! Ты мне пиши оттуда, Семен. Ну, что пьют и как пьют — это, может быть, цензура не пропустит, а ты напиши — извини, мол, Леонтий, ошибался... И я пойму! Напишешь?

— Напишу, — пообещал Таратуга.

— Леонтий Кузьмич!..

В дверях, ведущих из кабинета прямо в буфет, появилась растрепанная пожилая буфетчица (похожая сразу на всех трех ведьм из пьесы "Макбет" английского драматурга Шекспира, как сказал бы месье Раевский) и прокричала с рыданиями в голосе:

— Леонтий Кузьмич, сил моих больше нет, тут вас требуют!

— А что случилось?

— А ничего не случилось! Муха тут одному, видите ли, в кофий попала...

Леонтий Кузьмич нахмурился:

— Муха? Ну и что? Ну, а я при чем?

— А он велит, чтоб жалобную книгу принести... А я ему говорю, что книга у вас...

Буфетчица всхлипнула.

— Ну, тихо, тихо, Тамара! — сказал Верченко, тяжело поднялся, провел по лицу растопыренными пальцами, словно сдирая с себя хмель. — Извини, Семен! Попрощаться — и то не дадут... Аристократы, мать их растак! Он мухою, понимаешь, брезгует — ему за двенадцать копеек бабочек подавай!

...А дождик, ливший всю ночь и все утро, к полудню, как ни странно, прошел. И в разрывах облаков появилась подсвеченная золотом голубизна — и Одесса в одно мгновение осветлела, похорошела.

Таратуга медленно шел, заложив, по привычке, руки за спину, насвистывал, глазел по сторонам. Ему было почему-

то грустно, хотя он и не хотел себе в этом признаться. Вернее — запретил.

За все годы, что прожил он в Одессе, он так и не сумел полюбить этот город.

Разумеется, он проникался по временам прелестью его прозрачных вечеров, морскими томительными закатами и шуршаньем каштанов; его забавляла одесская речь — певучеленивая, с лукавыми, всегда вопросительными интонациями, речь настолько своеобразная и соблазнительная, что он и сам охотно ей подражал; его восхищала непоколебимая уверенность одесситов в том, что все у них самое лучшее — лучший Оперный театр, лучшая глазная больница, лучший Приморский бульвар, лучшая главная улица и, уж, конечно, лучшие женщины, воры и музыканты.

И он готов был даже с ними согласиться, но все-таки полюбить Одессу не мог. Ему было неуютно в этом городе, скучно, одиноко.

Впрочем, ему, наверное, всегда будет одиноко, всюду — где нет Адели. Но об этом он и вовсе запретил себе думать. Раз и навсегда.

...Он внезапно остановился и постарался вспомнить — хорошо ли он уложил единственное свое сокровище — "Декабриста Лунина"? Кажется, хорошо. В картонную коробочку, набитую ватой, а сама миниатюра завернута в папиросную бумагу, в несколько слоев, можно не волноваться.

...На Приморском бульваре, радуясь неожиданно просветлевшему дню, сидели на скамейках чинные молчаливые старики.

Это были не бездельники-пенсионеры — часы пенсионеров и домино наступали позже — это были деловые люди, знаменитые продавцы "слова".

Необычайный этот промысел, единственный и неповторимый, родился в Одессе в первые послевоенные годы и дожил до наших дней — то затухая, то разгораясь снова до жара и яркости адского пламени.

"Слова" делились на множество групп, видов и подвидов: "слова" женские, мужские и детские, "слова" продовольственные, "слова" особые.

В этом, последнем подвиде, больше всего ценились такие "слова", как — телевизор, холодильник, бритвенные лезвия, ковры и пылесос.

Сам процесс покупки-продажи "слова" происходил так:

— У кого есть мужское "слово?" — спрашивал покупатель.

— У меня есть мужское "слово"! — отвечал продавец.

— На когда?

— На сегодня.

— Почему?

Продавец пожимал плечами:

— Смотря, какое "слово" вам нужно.

Покупатель оглянувшись, чтоб убедиться, что никто не подслушивает, ронял сквозь зубы, негромко:

— Обувь. Есть?

— Есть. Только "слово" обувь стоит сегодня полтора рубля.

— Почему так дорого?

— Потому что очень хорошее "слово". Зимнее. Импортное. Уверяю вас, вы будете гулять с вашей дамочкой или бежать за трамваем — и вы будете вспоминать меня — такое я вам продам "слово"!

— Ну, ладно.

Покупатель платил полтора рубля и получал в обмен бумажку, на которой бисерным почерком было написано: "В три часа дня, в специализированном магазине "Обувь", у вокзала, будут в продаже чешские зимние ботинки от сорокового до сорок четвертого размера. Заведующую мужской секцией зовут, на всякий случай, Нина Петровна".

Откуда продавцы "слова" получали эти сведения, не знал никто, но в достоверности их можно было не сомневаться. Человек недобросовестный, уличенный во вранье, изгонялся беспощадно и навсегда из великого ордена продавцов "слова"! Даже малейшая неточность, и та каралась лишением права торговли на шесть месяцев.

...Поровнявшись со стариками, Таратута поднял руку в торжественном салюте:

— Братский привет народам Африки, Азии и Латинской Америки, борющимся за свою свободу и независимость!..

Старики добродушно закудахтали и один — с седой эспаньолкой — сказал:

— Молодой человек, есть особое "слово" — пальчики облизете!

Таратута остановился:

— Телевизор?

— Нет.

— Холодильник?

— Послушайте, молодой человек, вы же не знаменитая парижская гадалка мадам Ленормай и не Бюро прогнозов! Заплатите два рубля, и вам не нужно будет ломать себе голову!

Таратута подумал и сказал:

— Прошу учесть, что лично я вообще уезжаю и мне ничего не нужно. Но я готов внести два рубля на поддержку справедливой борьбы за свободу и независимость!..

Он вытащил из кармана кошелек, отсчитал мелочью два рубля и получил от старика с эспаньолкой сложенную "фантиком" бумажку.

Таратута развернул ее, прочёл, засмеялся.

— Нравится?

— Очень! — он наклонился. — Спасибо и до свиданья.

— До свиданья! — хором ответили старики. — Желаем счастья!

Прощайте, продавцы "слова"! Прощай, Приморский бульвар, и прославленная лестница, ведущая от бульвара в порт, и Воронцовский дворец! Прощайте — и не вспоминайте лихом!

...У будки телефона-автомата он слегка замедлил шаги, раздумывая, кому позвонить, попрощаться. Он даже приготовил двухкопеечную монету, но, перебрав в уме всех своих одесских знакомых, с удивлением понял, что звонить-то ему некому. Каретниковы оба на работе, Майзель в командировке, а у Алеши Тучкова телефона нет.

— Лучше просто к нему заехать, — подумал он и тут же решительно прогнал эту мысль.

Этого делать нельзя, это опасно. Вот уже пять лет пытался Алеша получить инвалидную коляску, вел по этому поводу бесконечную переписку с Министерством здравоохранения,

собирал сотнями справки, характеристики, ходатайства; ему, наконец, обещали, что к весне он будет внесен в список тех, кто, действительно, в таковой коляске нуждается, а там, глядишь, через год-полтора он ее и впрямь получит — и как бы не повредил ему, как бы все это не порушил прощальный визит Таратуты.

Нет, не надо заезжать к Алеше Тучкову! Прощай, Алеша Тучков!

Опыт всех трех его прошлых жизней — в Свердловске, в Москве, в Одессе — научил Таратуту нехитрому правилу: если случается с тобою что-то неожиданное и непонятное, если вмешиваются в твою судьбу силы неведомые, грозные, и есть подозрения, что называются эти силы именем коротким и черным, которое, как имя черта, не принято произносить к ночи — замкнись и не впутывай в твои дела других (друзей, особенно), не звони, если не звонят они сами, не навещай, не тревожь, чтоб не говорили потом, чтоб не жаловались, что ты их подвел.

Прощай, Алеша Тучков!

Но в будку телефона-автомата Таратута все-таки зашел, опустил монетку в отверстие, снял трубку, набрал номер и, услышав щебечущее "алло!", сказал:

— Маргоша, привет! Это Семен.

— Ой, Любочка, милая, здравствуй! — пропела Маргоша, Маргарита Николаевна, товарищ Озерская, артистка Одесского театра оперетты. — Здравствуй, Любана! Ты где же это пропадаешь?!

— Все ясно! — сказал Таратута. — Господин супруг и повелитель дома. Жаль. А я уезжаю и думал, что мы с тобою где-нибудь встретимся и пообедаем вместе!

— Не могу, Любочка, никак не могу. Сережа прихварывает, а у меня еще спектакль сегодня, и я...

— Ладно, ладно! — сказал Таратута. — Ну, что ж, могу оказать тебе на прощанье небольшую дружескую услугу. В пять часов вечера, в Универмаге, на Пушкинской, в отдел кожгалантереи, поступят в продажу польские чемоданы и сумки! Прощай, Маргоша!..

Маргоша охнула, а Таратута повесил трубку, выбрался из

будки телефона-автомата, повздыхал, покрутил головой и побрел по улице Карла Маркса по направлению к Дерибасовской.

"Я сижу в своей подворотне, на улице Карла Маркса", — припомнились ему слова Вали-часовщика и тут же, словно по заказу, он увидел и эту самую подворотню, и вывеску "Часовая мастерская, ремонт и починка". Но на дверях мастерской висел огромный размеров, похожий на гирию замок, к которому шнурком от ботинок была привязана записка "Ушел на базу".

Снизу зеленой тушью для ресниц кто-то уже успел приписать: "Ну, и х... с тобой"!

"Так я, стало быть, и не узнаю, какая разница между починкою и ремонтом", — подумал, усмехаясь Таратута, и поглядел на часы.

Было четырнадцать часов пятнадцать минут. До отъезда еще оставалось восемь часов.

Ровно через восемь часов он будет стоять у окна вагона, и услышит негромкий свисток, и увидит, как внезапно откатнется назад перрон...

...Он стоял в вагоне, у окна.

Раздался негромкий свисток, и Таратута увидел, как откатнулся и поплыл назад перрон, и столб с электрическими часами, и уныло сгорбившийся носильщик с тележкой, а Валя-часовщик и Толик с Валериком пошли рядом с вагоном, все убыстряя и убыстряя шаги, и что-то кричали ему, размахивая руками и улыбаясь.

...Когда Таратута приехал на вокзал, они уже ждали его на платформе, у пятого вагона. Впереди, в излюбленной наполеоновской позе, скрестив на груди руки, стоял Валя-часовщик, а сзади, нагруженные какими-то свертками, переминались с ноги на ногу Валерик и Толик.

— А мы уже начали волноваться! — сказал Валя-часовщик. — Я хотел подвезти вас к поезду! Звоню в гостиницу, мне говорят — он уехал! Мы мчимся сюда — вас нет... Где вы пропали, Семен Янович?

— Искал такси, — сказал Таратута и с удивлением поглядел на Валю-часовщика. — А как вы вообще узнали, что я уезжаю?

— Семен Янович, дорогой...

Валя-часовщик криво улыбнулся, и лицо его на какую-то долю секунды, как вчера — на банкете в ресторане "Волна" — стало серьезным и даже немножко печальным.

— Если бы я не знал обо всем, что случается в этом городе, — за час до того, как это случается, — я бы уже давно не гулял на воле и не имел бы счастья с вами познакомиться!..

Он тряхнул головой и, переменяв тон, деловито спросил:

— Это все ваши вещи?

— Да.

— Хорошо. Тогда так...

Он обернулся и поманил пальцем Валерика с Толиком.

— Мальчики отнесут вещи в вагон, все положат, все устроят, а мы с вами немножко прогуляемся... О'кей, мальчики?

— О'кей! — в один голос ответили Валерик и Толик.

Они поклонились Таратуте, взяли у него из рук чемодан, вещевой мешок и авоську, но почему-то не полезли в вагон, а направились легкой трусцой куда-то в конец состава.

— Эй, куда они?! — дернулся Таратута. — Вот же пятый вагон...

— Семен Янович, не волнуйтесь! — сказал Валя-часовщик.

— Вы едете в мягком. Я прямо удивляюсь на этих деятелей из ОВИРа! Такого человека они сажают в жесткий вагон, крохоборы! Но все в порядке — мы уже договорились с проводником!

— Да?

Таратута озабоченно сдвинул брови:

— А сколько нужно доплатить?

— Ничего не нужно доплачивать! — весело сказал Валя-часовщик, и на щеке его заиграла детская ямочка. — Проводник — свой человек. Вы будете с ним ехать, как с родной тетей! Идемте!

Он взял Таратуту под руку, они пошли следом за Валериком и Толиком в конец состава, к мягкому вагону, мимо почти странно пустого поезда, мимо немногочисленных провожающих и уезжающих, стоящих на ступеньках и на площадках вагонов.

Стрелка часов на круглых электрических часах перепрыгнула с десятой минуты на одиннадцатую.

— Семен Янович, хочу вас просить — сделать мне небольшое одолжение! — сказал, понизив голос, Валя-часовщик.

Он вытащил из кармана пиджака почтовый конверт без марки, протянул его Таратуте:

— Возьмите... Это письмецо нужно передать... Там, на конверте, все написано — и телефон, и адрес... Но лучше не звонить, а просто зайти... Вернее, обязательно нужно зайти. Есть в Москве такой художник — Лев Андреевич Ушаков. Говорят, что он очень известный художник, но это не имеет значения. Он приезжал в прошлом году в Одессу. Нас с ним познакомили; прямо вам скажу, что любви у нас не получилось, достал, но это тоже не имеет значения. Вы просто передадите ему письмецо, он живет в центре — у площади Маяковского, много времени у вас не отнимет... Теперь, скажите мне, Семен Янович, откровенно — куда вы полетите из Вены? В Рим или в Тель-Авив?

Таратута поглядел на Валю-часовщика, хмыкнул, покачал головой, проговорил медленно и задумчиво:

— Куда я полечу из Вены? В Рим или в Тель-Авив? Еще вчера я думал, хорошо бы съездить в Ленинград, и понимал, что это далеко и сложно. Мне всегда казалось, что мир кончается где-то у пограничной станции Брест, а остальные части света пририсованы просто так, для красоты... Одним словом, Валя, если я, действительно, окажусь в Вене, то из Вены я полечу в Тель-Авив.

Валя-часовщик кивнул:

— Я почему-то был совершенно уверен, что вы ответите именно так! Но очень важно, Семен Янович, очень-очень важно, чтоб вы не забыли сказать об этом Ушакову!.. А-а, вот и мальчики!..

...Валерик и Толик стояли у мягкого вагона вместе с каким-то бородатым молодым человеком в железнодорожной форме. Оказалось, что это и есть тот самый проводник, с которым Таратуте предстояло ехать до Москвы, как с родной тетей.

— Все в порядке? — спросил Валя-часовщик.

— Все в порядке! — ответили Валерик и Толик. — Третье купе, любое место.

Стрелка часов прыгнула с двенадцатой минуты на тринадцатую.

— Прошу, — сказал проводник.

— Ну, Семен Янович! — сказал Валя-часовщик, коротко обнял Таратуту и подтолкнул его к ступенькам вагона. — Счастливый путь! Помните, как сказал вчера Ваню, — гора с горою не сходится, а человек с человеком сходятся. Может быть, мы еще встретимся! Счастливый путь!

— Счастливый путь, Семен Янович! — крикнули негромко Валерик и Толик.

...Он стоял у окна, а они шли рядом с вагоном, все убыстряя и убыстряя шаги, и что-то кричали ему, размахивая руками и улыбаясь. А потом они отстали, перрон кончился, и в последнем пучке света возникла и уплыла назад надпись: "Одесса".

Прощай, Одесса!

Таратута вздохнул, вошел в купе, снял пальто, огляделся.

Вещи его — чемодан и мешок — мальчишки подняли наверх, авоську оставили внизу, а на столике, в живописном беспорядке, как игрушки под елкой, лежали два блока американских сигарет "Мальборо", бутылка английского джина, коробка чешских конфет и польский дорожный несесер из свиной кожи.

— Сумасшедшие психи! — вслух сказал Таратута и сел.

Он внезапно почувствовал, что смертельно устал, голоден, оглушен; что он все еще не в состоянии понять — что же это с ним произошло и чем все это кончится.

Ему захотелось курить, но открывать "Мальборо" он не стал, а вытащил смятую пачку болгарской "Шипки", встряхнул ее, вытянул зубами сигарету.

И тотчас же, словно из-под земли, появился в открытых дверях купе проводник и протянул Таратуте зажженную спичку.

— Спасибо, — сказал Таратута, прикурил и решил, что он больше ничему удивляться не будет.

— Чаек согреть? — спросил проводник.

— Попозже, — сказал Таратута. — Я, знаете, съел бы чего-нибудь...

— А ресторан рядом, — сказал проводник, — вы ступайте, пока народу немного, поужинайте... А я вам тем временем постельку постелю и чаек поставлю... Ступайте.

...В вагоне-ресторане было, и вправду, почти пусто. Только за крайним, у входа, столиком сидела компания пожилых и каких-то на редкость как на подбор некрасивых мужчин. Мужчины пили пиво и молча наблюдали за тем, как одна из официанток, взобравшись на стойку, снимала с верхней полки буфета картонные коробки и передавала их буфетчице — румяной толстухе в вышитой украинской кофте. Вторая официантка кривая на один глаз, но с модной прической, называемой в просторечии "вшивый домик", стояла рядом и зевала.

Таратута сел у окна, включил настольную лампу, постучал ножом по краю бокала.

Кривая официантка обернулась, подошла, укоризненно проговорила:

— Только сели, а уже стучите! Вам пива?

— Нет, — сказал Таратута. — Я хочу есть.

Он раскрыл меню.

— Что вычеркнуто, того нет, — предупредила официантка.

— Так у вас тут почти все вычеркнуто.

— Что вычеркнуто, того нет, — тупо и привычно повторила официантка.

— А что же есть?

— Холодное, горячее?

— Горячее.

— Гуляш, — сказала официантка и вздохнула.

— А еще?

Официантка, сдерживая зевок, ничего не ответила.

— Ну, ладно, давайте гуляш.

— Один гуляш! — сказала в пространство официантка.

— Что будете пить? Коньячок? Водочку?

— Какой у вас коньячок?

— Молдавский. Пять звездочек.



— Ого! — сказал Таратута. — Ну, хорошо — принесите сто пятьдесят.

— Коньячку сто пятьдесят, — бросила на ходу официантка буфетчице и поплелась на кухню.

Таратута покачал головой, раздвинул от нечего делать шелковую в сборку занавеску на окне, поглядел в запотевшее стекло.

За окном была темень, редкие огоньки.

Дальняя дорога — шестерочка пиковая — вечер, поезд, огоньки. Все, как в песне. И как в песне, у Таратуты вдруг непонятную тревогой заныло сердце.

...Она была сочинена в России, эта песня, и только в России, с невысказанными ее расстояниями, могут люди оценить и понять слова:

**Вечер, поезд, огоньки,  
Дальняя дорога.  
Сердце ноет от тоски,  
А в груди тревога...**

Ну, в самом деле, ну что такое для европейцев — дальняя дорога, когда, к примеру, от Парижа до Осло ("на край света", как говорят парижане) всего-то пути — ночь до Копенгагена, там пересадка, еще несколько часов — и Осло.

А суток пять или шесть, не угодно ли? И это еще хорошо — бывает, что и подольше; бывает, что и по месяцу, если не по два!

И отправляются в такую дорогу не с одним, как европейцы, немудрящим чемоданчиком или сумкой, а с мешками и корзинками, с баулами и сундуками, с неизменным и обязательным чайником, чтоб выбегать на остановках за кипятком, с ножами и ложками; и солью в тряпице; и даже ночью, извините за выражение, посудой, если берутся с собою в дорогу малые дети или такие старики, что вот-вот, неровен час, отдадут богу душу.

И каких только разговоров, каких только былей и небылиц не наслушаешься в этой дороге! Неторопливо течет беседа, и кажется, что нет ей ни конца, ни начала, ни смысла.

Свесится с верхней полки чужой человек, послушает — и не поймет ничего.

— А Ленька-то, тыр-пыр, а все равно — своя рубашка ближе к телу, верно я говорю?

Но ответят не сразу. Ответят после паузы. А в паузе этой и чайку попьют, и по нужде сходят, и подумают, и пробежит поезд еще с десятков километров; и когда чужой человек уже и про вопрос-то забудет, тогда только, наконец, последует ответ:

— Оно, конечно, верно, но ведь и ей — Вологда Вологдой — а интерес иметь надо!..

Вот и пойми!

И куда бы ты ни ехал, как бы ни ехал — в теплушке или в международном спальном вагоне, где красное дерево, бархат и зеркала — в какую-то минуту, самую внезапную, непременно настигнет тебя тоска.

"Тоска вагонная, железная" — это тоже, недаром, сочинено в России.

В ранние сумерки или на рассвете ты выглянешь в окно — твой поезд притормозил на каком-то разъезде — и ты увидишь домик, маленький, неказистый, с покатою крышей и цветастыми занавесками.

А на крыльце стоит молодая женщина, простоволосая, в ситцевом платье и в мужских сапогах на босу ногу. Одной рукой она держится за перила крыльца, а в другой руке у нее свернутый флажок — не разберешь какого цвета.

И ты подумаешь о том, что никогда в жизни не узнаешь, как зовут ее, кто она, о чем она думает. Никогда, никогда не повторится это мгновение — и все это вроде бы вздор и не стоит памяти — но у тебя почему-то зайдется сердце от мысли о необратимости времени и о том, какое великое множество людей, живущих в одни с тобой годы, на одной и той же земле, — никогда не слышали и не услышат о тебе, не узнают твоего имени, они пройдут, и уйдут, и не обратят внимания на то, что ты тоже существовал.

... — Вот так встреча на Эльбе! — пропел над головою Таратуты тоненький голос.

Он поднял глаза и, хоть и дал себе слово ничему больше не удивляться, все-таки удивился.

Перед ним в кружевном, не первой свежести фартуке,

стояла та самая, вчерашняя, чернявенькая девица с черной челкой и зелеными глазами, та — из "джинсовой" компании, из прошлой жизни.

— Батюшки! — сказал Таратута. — Действительно — встреча!

— А я вчера весь вечер ждала, думала, что вы позвоните.

— Не мог, — коротко, не вдаваясь в подробности, ответил Таратута. — Между прочим, я ведь забыл спросить, как вас зовут?

— Алла.

— Прекрасно! Рад видеть вас, Аллочка!

— Я тоже. Вы ужинать будете?

— Да. Но я уже заказал...

— Кому? Лизке? Гуляш?

— Да.

— Вот, падла! — искренне возмутилась Алла. — Этот гуляш ни один человек в здравом уме и твердой памяти есть не может... Мы его специально для алкашей держим, которым все равно — было бы во что вилокую тыкать. Она наморщила лоб, подумала и, неожиданно переходя на "ты", спросила:

— Ты как к омлету с ветчиною относишься?

— Вполне положительно, — сказал Таратута.

Она улыбнулась, кивнула — черная челка взметнулась вверх и снова упала на глаза — сказала:

— Не скучай! Через пять минут я вернусь!

Вернулась она хоть и не через пять минут, но все-таки довольно быстро, принесла омлет, коньяк, хлеб и от себя добавила порцию маринованной селедки и бутылку боржома.

— Я быстро, да? — спросила она с наивным хвастовством. — Знаешь, когда сезон, никто быстрее меня не обслуживает. Лизка только с первой сменой рассчитывается, а у меня уже вторая ест... Я тебе селедочки еще принесла, ничего?! Конечно, селедка под коньяк не очень-то, лучше бы водочка...

— Хорошо, хорошо, — сказал Таратута. — Все в порядке. У нас без предрассудков, у нас не только коньяк, шампанское селедкой закусывают...

— Ну, и ладушки! — засмеялась Алла и приказала. — Ешь, не буду тебе мешать.

— Ой, нет, погоди! — попросил Таратута. — Посиди со мной, а? Или не полагается?

— Вообще-то, конечно, не полагается...

Засунув руки в кармашки фартука, она покачалась на каблуках, прищурилась, негромко сказала:

— Ладно. А если кто спросит, скажи, что ты мой двоюродный брат.

Она присела на краешек стула, помолчала, стряхнула со скатерти какие-то невидимые, скорее всего, воображаемые крошки, быстро взглянула на Таратуту и тут же снова опустила глаза:

— Ты слышал, между прочим, твой Лapidус пришел сегодня домой?!

— Это точно?

— Совершенно точно.

— Интересно! — сказал Таратута, хотя вовсе это было ему не интересно, потому что и сам Лapidус, и вся его история — стали уже тоже вчерашним, прошлым, не имеющим смысла, но он все-таки повторил, — очень интересно, — и поднял бокал с коньяком. — Ну, если так — то со свиданьем, Аллочка, и за благополучное возвращение Лapidуса!

— Чин чин! — пропела Алла.

Таратута отхлебнул большой глоток, с шумом выдохнул воздух.

У него закружилась голова, и он подумал:

— Это, наверное, с голода. Я ведь, оказывается, ничего не ел со вчерашнего вечера.

Он отхлебнул еще глоток, посмотрел на Аллу, и ему показалось, что зеленые ее глаза побежали ему навстречу. Он слегка наклонился вперед и накрыл ладонью ее руку.

— Ужасно я рад, Аллочка, что мы все-таки встретились... Ты мне сразу понравилась! Ты красивая, умная...

— Господи, что я несу?! — подумал он, но уже был не в силах остановиться. — У тебя глаза умные... Слушай, а как ты здесь оказалась?

— Где — здесь? — не поняла Алла.

— Ну, в ресторане. Я думал — ты учишься или... Неужели, не могла найти себе места получше?!

— Получше?

Алла насмешливо покачала головой:

— Ах, миленький, много ты понимаешь! Да ты знаешь, за то, чтобы получить это место, люди по тысяче рублей платят... И еще спасибо говорят, в ножки кланяются...

— Почему?

Алла пожалала плечами:

— Заработки хорошие.

Таратута снял очки, повертел в пальцах и, забыв протереть их, снова надел.

— Чаевые?

Алла скорчила презрительную гримаску:

— Чаевые! Скажешь тоже... Чаевые, миленький, это — пшено, печки-лавочки, детишкам на молочишко... Вот ты, например, пьешь коньяк...

— Пью, — сказал Таратута и с внезапной догадкой поглядел на Аллу. — А вы чаем его разбавляете?

Алла засмеялась:

— Мы подобными глупостями не занимаемся...

Она оглянулась на буфетчицу, тряхнула челкой, негромко и серьезно сказала:

— Бутылка этого коньяка в магазине стоит восемь рублей... А у нас почти шестнадцать, вдвое. И это не мы набавляем, ты не думай. Это официальная государственная наценка. С тебя в любом ресторане возьмут столько же. Получаем мы этот коньяк на особой базе Министерства путей сообщения. По счету получаем, по накладной — такое-то количество бутылок... Отправляемся в рейс — получаем, возвращаемся — за пустые, которые выпили, рассчитываемся, а которые не выпили — обратно сдаем... Ты сечешь?

— Секу, — пробормотал Таратута, — секу, но не понимаю — на чем вы тут зарабатываете?!

Алла усмехнулась:

— А тут даже чокнутый — и тот заработает! — она еще больше понизила голос. — На каждую бутылку, которую мы получаем с базы, — ставится печать, штамп... "Министерство путей сообщения, база номер такая-то, вагон-ресторан номер такой-то"... Все в ажуре! Но только у буфетчицы нашей, у Марьи

Григорьевны, есть точно такой же штамп... Сечешь?! Перед рейсом мы вскладчину покупаем в магазине по нормальной цене тридцать-сорок бутылок, ставим на них штамп и пускаем в продажу... Которые с базы бутылки — те в ящике, под буфетом или на кухне... Ну, конечно, несколько штук мы — для отчетности — продаем... Но, в основном, торгуем нашими. В сезон за один сдвоенный рейс мы, бывает, столько продадим, что пустыми назад едем, — ничегошеньки не остается — ни коньяку, ни вина, ни водки...

— Хитро, — пробормотал Таратута.

— А ты говоришь — чаевые! — с воодушевлением сказала Алла. — И это, миленький, один всего лишь пример, а их... Такие есть номера — закачаешься... Объяснять только долго!

Гремя сапогами, вошли в ресторан двое военных, два майора. У обоих были совершенно остекленевшие бутылочно-го цвета глаза и нарочито-четкие движения.

За столик они не сели, а прошагали прямо к буфетной стойке, заказали по чайному стакану водки и по бутерброду с вареной колбасой; без удовольствия, словно выполняя ответственное задание, выпили, заели колбасой, расплатились и направились к выходу.

Уже в дверях один из них — тот, что был помоложе, — обернулся, поднял руку с оттопыренным указательным пальцем и громко сказал:

— Прошу учесть, что римский Ко-зи-лей был разрушен! Ясно?!

— Ясно, — ответила Алла и пообещала, — учтем!

Майоры ушли.

— Пьянь несчастная! — сказала Алла.

Таратута допил коньяк и со вздохом сожаления поставил пустую рюмку на стол, поставил очень аккуратно, но она почему-то упала и едва не разбилась.

Таратута засмеялся, облизнул языком пересохшие губы. У него кружилась голова, перед глазами плыли какие-то веселые радужные пятна, и в одном из этих пятен то появлялось, то исчезало Аллино лицо. Иногда целиком, иногда по частям — нос, ухо, глаза, челка.

— Я на ней женюсь, — решил Таратута. — Женюсь и возьму

с собою в Израиль. Мы будем жить счастливо и умрем в один день. Сейчас я ей все это скажу, но сначала нужно еще выпить!

— Нужно еще выпить! — сказал он вслух.

— А тебе не хватит? — спросила Алла.

— Ха-ха! — сказал Таратута.

Алла поднялась, забрала пустую рюмку и ушла.

Таратуте захотелось петь. Но сколько он ни старался, он не мог припомнить ни одной, подходящей к случаю песни. Он покрутил головой и с испугом обнаружил, что куда-то пропала компания очень некрасивых мужчин. Только что сидели, пили пиво — и вдруг пропали.

— Где они? — спросил Таратута, хватая за руку проходившую мимо кривую официантку Лизку.

Но Лизка, вместо того чтобы ответить по-человечески, вырвала руку и крикнула визгливо и непонятно:

— Какой с него калым?! Он уже и так левым винтом пошел!

Таратута обиделся, и голова у него перестала кружиться.

Алла вернулась, поставила на стол графинчик с коньяком и рюмку, озабоченно спросила:

— Ты — как?

— Превосходно! — сказал Таратута. — А что за калым?!

— Выкуп, — объяснила Алла.

— Почему? — спросил Таратута.

— Ну, это если ты хочешь, — не сразу ответила Алла.

Она покосилась на Таратуту, закурила, выпустила колечком дым, повторила:

— Если ты хочешь... Надо заказать шампанское и какой-нибудь закуски... Для всех — для буфетчицы, повара, Лизки... Посидим, погуляем, и тогда они отпустят меня к тебе... Но это, конечно, не обязательно! — добавила она, вдруг как-то заторопившись и глотая слова. — Это они так предлагают, а ты уж сам... Это, как говорится, тебе решать... И ты не думай, что я...

Таратута тупо поморгал глазами и спросил:

— А шампанское дорогое?

Алла усмехнулась:

— Ну, вот об этом уж ты, как раз, не волнуйся. Твой счет оплачен. Заранее и даже с верхом. Мне Валерий Исаевич перед отходом пятьдесят рублей дал. Сказал, если ты загуляешь, так чтобы все было тип-топ.

— Валерий Исаевич?! Какой Валерий Исаевич?

— Что значит — какой?! — развела руками Алла. — Ну, он же провожал тебя, я из окна видела. Ну, Валя-часовщик!..

...Они повесили на дверях, снаружи, с двух сторон, таблички с надписью "Ресторан закрыт". И постелили свежую крахмальную скатерть... И погасили верхний свет, оставив гореть только уютную настольную лампу. Алла сидела рядом с Таратутой, напротив буфетчица и повар Игнатий Игнатьевич — очень худой человек неопределенного возраста, беззубый, но в таких же, как у Таратуты, фасонистых роговых очках.

А кривая Лизка приплясывая принесла ведро, из которого торчали серебряные головки бутылок шампанского; игриво подмигнула Таратуте здоровым глазом и снова умчалась на кухню — за закуской.

Повар Игнатий Игнатьевич очень длинными белыми пальцами вытащил из ведерка бутылку шампанского и, сдирая с горлышка серебряную обертку, вежливо спросил у Таратуты:

— В Москву едете?

— В Москву, — сказал Таратута и икнул.

— Ничего, бывает! — благодушно заметила буфетчица и было не очень понятно, к чему относятся ее слова — к тому ли, что Таратута едет в Москву, или к тому, что он икает.

— Ты смотри, только не усни! — шепнула Алла.

Она прижималась к Таратуте плечом, и от нее пахло луком и польскими духами "Быть может..."

Повар Игнатий Игнатьевич ловко, не пролив ни единой капли, открыл шампанское и первому, как хозяину стола, налил бокал Таратуте.

Прибежала Лизка с закуской — селедкой на тарелочках и винегретом в суповой кастрюле — захлопала в ладоши, закричала:

— За молодых, за молодых!

А поезд сошел с рельс и шпарил теперь прямо по полю, по

мокрой ночной траве, через речку — по узкому деревянному мостику — прорезал наискосок березовую рощу и закружил-ся на одном месте.

— Не засыпай! — сказала Алла.

— Я неза-сы-паю! — сказал засыпая Таратута.

...Он проснулся минут через пять, как ему показалось, но когда он с трудом разлепил глаза, он обнаружил, что лежит в своем купе, а за окном совершенно светло, солнечно.

Из радиодинамика доносилось какое-то шипенье и потрескивание, как будто на гигантской кухне, на гигантской сковороде жарили гигантскую яичницу.

Потом шипенье и потрескивание прекратились, и отвратительно бодрый голос сказал:

— Граждане пассажиры! Наш скорый поезд номер тридцать второй прибывает в столицу нашей родины орденоносный город-герой Москву.

В радиодинамике что-то щелкнуло — и сводный хор молодых и девиц, счастливо избежавших тягот военной службы и ужасов честного труда, грянул во всю дурацкую мочь:

— **Москва моя, страна моя.  
Ты самая любимая!**

*Конец первой части.*

*Бад-Хайльбрун, Мюнхен, Париж.  
1976-1977 гг.*

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО  
"МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ"  
ИЛЬЯ РУБИН  
"ОГЛЯНИСЬ В СЛЕЗАХ"  
ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ**

Книга стихов, эссе и прозы безвременно скончавшегося поэта, прозаика, критика Ильи Рубина, остро чувствовавшего свою принадлежность двум культурам — русской и еврейской — и драматически выразившего это свое двойное культурное подданство в своем творчестве.

Цена книги — 6 долларов (с пересылкой).

Заказы и чеки направлять по адресу:

P.O. Box 23121. Tel-Aviv, Israel.

*Сергей ДОВЛАТОВ*

## НЕВИДИМАЯ КНИГА

*Окончание. Начало см.*

*в 24 номере журнала.*

### ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГОРОД

Таллин называют искусственным, кукольным, бутафорским... Я жил там и знаю, что все это настоящее. Значит, для Таллина естественно быть чуточку искусственным...

Эстонскую культуру называют внешней. Что ж, и на том спасибо. А ругают внешнюю культуру, я думаю, именно потому, что ее так заметно не хватает гостям эстонской столицы.

В Эстонии — нарядные дети. В Эстонии нет бездомных собак. В Эстонии можно увидеть такелажников, пьющих шерри-бренди из крошечных рюмок...

Почему я отправился именно в Таллин? Почему не в Москву? Почему не в Курган, где у меня есть влиятельные друзья?..

Разумные мотивы отсутствовали. Была попутная машина. Дела мои зашли в тупик. Долги, семейный разлад, отсутствие перспектив...

Мы выехали около часа дня. Двадцать шесть рублей лежало у меня в кармане, журналистское удостоверение, авторучка. В портфеле — смена белья.

Copyright С. Довлатова. Печатается с разрешения издательства Ardis/rit.

Знакомых у меня в Таллине не было. Два телефона, кем-то небрежно продиктованных...

Мы приехали вечером. Телефонный звонок. Первая удача. Есть, где остановиться.

Наутро я уже сидел в кабинете заместителя редактора "Молодежи Эстонии".

Начал печататься как внештатный автор. Затем работал ответственным секретарем в портовой многотиражке. Еще через месяц пригласили в отдел информации "Советской Эстонии".

Материальное и гражданское положение несколько стабилизировалось. Я зарабатывал около трехсот рублей в месяц. Обучился выпивать по-западному: лимон, маслины, жалкие наперстки...

Гонорарная касса работала ежедневно. Напечатался — в тот же день получай.

Но и тут я опоздал. (Злополучный шапочный разбор). Эстонские привилегии шли на убыль. Началось с мелочей. Пропала ветчина из магазинов. Затем ввели четыре гонорарных дня. В баре Дома печати запретили торговать коньяком. Кроме этих частностей, были и другие, идеологические перемены. Но не будем забегать вперед.

У меня появились друзья. Журналисты, филологи, молодые ученые. Я давал им свои рассказы. Таллин — город маленький, все друг друга знают, слухи распространяются быстро. Мне сообщили, что в издательстве ждут, когда я представлю рукопись. Я отобрал шестнадцать самых безобидных рассказов и пошел в издательство.

Редактор Эльвира Михайлова встретила меня чрезвычайно приветливо.

Через несколько дней звонит — очень понравилось. Даем на рецензию в ТГУ.

— А можно самому Лотману?

— Вообще-то можно. Юрий Михайлович с удовольствием напишет. Только я не советую. Его фамилия привлечет нежелательный интерес. Пошлем доценту Беззубову. Это очень знающий человек, специалист по Леониду Андрееву. Вы любите Андреева?

— Нет. Он пышный и с надрывом. Мне вся эта компания не очень-то: Горький, Андреев, Скиталец...

— Не важно. Беззубов — человек широкого диапазона.

— Да я не возражаю.

Беззубов написал положительную рецензию. Приводить ее целиком не имеет смысла. Вот последний абзац:

"С. Довлатов является зрелым писателем. Его рассказы обладают несомненными литературными достоинствами".

Через три недели со мной был подписан договор №36/ЕИ-74.

О моей книжке заговорили. Главный редактор Аксель Тамм объявил, что это лучшая русская книжка у них за последние годы. В своих интервью корреспондентам газет директор "Ээсти раамат" обязательно называл мою фамилию.

Члены русской секции заинтересовались мной.

Чем вызван был такой успех? Ведь цену своим рассказам я знаю. Не такие уж они замечательные.

Дело в литературной ситуации. Среди эстонских писателей есть очень талантливые. Например — Ветемаа, Уньт, Каплинский, Ардер. На эстонском языке издается все, что они пишут. Оно и понятно, язык локальный, тиражи маленькие. Кто там услышит в Москве?

Один молодой поэт издал книжку с фаллосом на супере. Такой обобщенный узнаваемый контур. Я не говорю, что это высокое моральное достижение. Просто факт, свидетельствующий о мягком цензурном режиме.

Разумеется, есть и в эстонской литературе категорические табу — национальный вопрос, к примеру. И тем не менее...

С русским языком дело обстоит несколько иначе. У русских авторов возможностей куда меньше. И все же тень эстонских привилегий ложится и на них.

Кроме того, русская секция очень малочисленна. Вот уже года три здесь не принимают в союз новых членов. Поэтому мной так и заинтересовались.

Гранки пришли буквально через месяц. Затем — вторая корректура. То есть, нечто фантастическое...

Потом я узнал, что рукопись все же тормозили. У кого-то она вызывала законное недоумение. Автор почему-то ленин-

градец. (Я работал в Эстонии с ленинградской пропиской). Да и тексты оказались не столь уж безобидными. В общем, тормозили.

Аксель Тамм передал мне один разговор в Главлите.

Цензор говорит:

— Довлатов критикует армию.

— Где, покажите?

— Это, конечно, мелочи, детали, но все же...

— Покажите конкретную фразу.

— Да вот. "На ремне у дневального болтался штык".

— Ну и что?

— Как-то неприятно: болтался штык...

Аксель Тамм не выдержал:

— Штык не член! Он не может стоять! Он болтается!..

Как-то вызвал меня главный редактор:

— Слушайте, кто ваши друзья в Ленинграде?

— Трудно сказать. В основном, начинающие писатели, художники... А что?

— Да ничего. Я и сам бог знает с кем дружу. В каких-нибудь манифестациях участвовали?

— Боже упаси.

— Бумаги подписывали?

— Какие бумаги?

— Вы меня понимаете. Разные.

— Разные — никогда.

— Странно.

— А что такое?

— Отношение к вам странное.

— Объясните же наконец...

— Ладно. Не переживайте. Все будет хорошо...

Я ожидал верстку. Жизнь представлялась в розовом свете.

Тут я позволю себе отвлечься. Поделиться самым острым эстетическим впечатлением моей жизни.

## ЧЕРНАЯ МУЗЫКА

В Таллине гастролировал Оскар Питерсон, непревзойденный джазовый импровизатор. Мне довелось побывать на его концерте.

Накануне я пошел к своему редактору:

— Хочу дать информацию в субботний номер. Нечто вроде маленькой рецензии.

Редактор Г.Ф. Туронок, по своему обыкновению, напугался:

— Слушайте, зачем это? Он американец, надо согласовывать. Мы не в курсе политических убеждений. Может быть, он троцкист.

— При чем тут убеждения? Человек играет на рояле.

— Все равно — он американец.

— Во-первых, он канадец.

— Что значит — канадец?

— Есть такое государство — Канада. Во-вторых, он негр. Его знает весь мир. Как же можно не откликнуться?

Туронок задумался.

— Ладно, пишите. Строк шестьдесят непарелью...

Питерсон играл бесподобно. Я впервые почувствовал, как обесценивается музыка в грамзаписи.

В субботнем номере появилась моя заметка. Воспроизвожу ее не из хвастовства. Дело в том, что это единственный отклик на гастроли Питерсона в СССР.

## СЕМЬ НОТ В ТИШИНЕ

"В его манере — ничего от эстрадного шоу: классический смокинг, уверенность, такт. Белый платок на крышке черного рояля, пианист то и дело вытирает лоб. Вдохновенный труд, нелегкая работа..."

Концерт необычный, без ведущего. Это естественно. Музыкальная тема для импровизатора — лишь повод, формула, знак. Первое лицо здесь не композитор, создавший тему, а исполнитель, утверждающий метод ее разработки. Исполни-

тель — неудачное слово. Питерсон — менее всего исполнитель. Он творец, созидающий на глазах у зрителей свое искусство, легкое, мгновенное и неуловимое, как тень падающих снежинок или узор листвы над головой.

Подлинный джаз — искусство самовыражения. Самовыражения — одновременно — личности и нации. Стиль Питерсона много шире традиционной негритянской гармонии. В его богатейшем многоголосии слышится и грохот там-тама, и певучая флейта Моцарта, нежное голубиное воркование и рев обитателя джунглей.

О джазе писать трудно. Можно было бы заговорить о том, что Питерсон употребляет диатонические и хроматические секвенции, политональные наложения, можно было бы написать о гармоническом отношении тоники и субдоминанты, затронуть пласты высшей джазовой математики... Стоит ли?

Вот он подходит к роялю, трогает клавиши. Что это? Капли ударили по стеклу, рассыпались бусы, зазвенели тронутые ветром листья?.. Затем все тревожнее далекое эхо и наконец — обвал, лавина, вслед за которой снова — одинокая, дрожащая, мучительная нота в тишине...

Питерсон выступает в составе джазового трио. Барабаны Джейка Хенна — четкий пульс всего организма. Его искусство — суховатая музыкальная графика, на фоне которой еще ярче живопись пианиста. Контрабас Нильса Педерсена — опять-таки — намеренно шершавый бархатный фон, оттеняющий блеск импровизаций виртуоза.

Что же сказать о личном впечатлении? Я аплодировал так, что у меня остановились новые часы!"

Захватив номер "Советской Эстонии", я отправился в гостиницу. Питерсон встретил меня дружелюбно. Ему перевели "с листа" мою заметку.

Питерсон торжественно жал мне руку со словами:

— Это рекорд! Впервые обо мне написали таким мелким шрифтом!

## ОБСУЖДЕНИЕ В ЦК

Наконец пришла из типографии верстка. Художник нарисовал макет обложки — условный городской пейзаж в серо-коричневых тонах.

Мне позвонил Аксель Тамм. Я заметил, он чем-то встревожен.

— В чем дело? — спрашиваю.

— ЦК Эстонии затребовал верстку. В среду — обсуждение. Я нервничал, ждал, волновался.

На обсуждение меня, естественно, не пригласили. То есть, это, конечно, не очень естественно. В общем, не пригласили.

Целый день я пил коньяк. Выкурил две пачки "Беломора".

Наконец звонит Эльвира Михайлова:

— Поздравляю. Все отлично. Будем издавать!

Потом я узнал, как это было. Сообщение делал инструктор ЦК Ян Труль. Мне кажется, он талантливо построил свою речь. Вот ее приблизительное изложение (С его же слов).

"Довлатов пишет о городских низах. Его персонажи — ущербные люди, богема. Их не печатают, обижают. Они много пьют. Допускают излишества помимо брака. Чувствуется, рассказы автобиографичные. Довлатов и его герои — одно. Можно, конечно, эту вещь запретить. Но лучше издать. Выход книги будет естественным и логичным продолжением судьбы ее героев. Выход книги будет частью ее сюжета. Позитивным жизнеутверждающим финалом. Я за то, чтобы книгу издать..."

Я ждал сигнального экземпляра. Медленно тянулись дни, полные надежд.

Еще раз позволю себе отвлечься.

## ПРЕКРАСНАЯ ЭЛЛЕН

Однажды сижу я в редакции. Заходит красивая блондинка. Модель с рекламного плаката финской бани.

— Здравствуйте. Меня зовут Эллен.

— Очень приятно.



— Давно хотела с вами познакомиться. Как вы относитесь к Цветаевой?

— Хорошо отношусь.

— А к Заболоцкому?

— Тоже неплохо.

Мы беседовали около часа. Я так и не понял, зачем она явилась. На следующий день опять приходит:

— Вам не кажется, что разум есть осмысленная форма проявления чувства?

— Кажется.

Беседуем. И так всю неделю.

Я говорю приятелю:

— Мишка, что все это значит?

— И ты еще спрашиваешь? Надо брать!

— Думаешь?

— Уверен.

Мне как-то неловко стало. Еще обидится девушка.

На следующий день я осторожно предложил:

— Может быть, отправимся куда-нибудь? Выпьем, помолчим.

— О нет, я замужем.

— А если по-товарищески?

— Нет, нет.

На следующий день опять является. Передумала, наверное.

— Ну как? — говорю, — тут рядом мастерская. Талантливый художник, супрематист... (Супрематист мне ключ оставил).

— Ни в коем случае.

Это продолжалось три недели. Наконец я разозлился:

— Скажите откровенно. Зачем вы сюда ходите? Что вам нужно от меня?

— Понимаете, у вас язык хороший.

— Что?

— Язык. Литературный русский язык. В Таллине, конечно, много русских. Только говорят они неважно, примитивно. А вы говорите ярко, образно. Я переводами занимаюсь, мне необходим литературный русский язык. В общем, я беру уроки. Разве это плохо? Кое-что из вашего даже записываю.

Она перелистала блокнот:

— Вот это, например: "Для того, чтобы писать хорошие стихи, нужен темперамент мученика, или высокий достаток". И еще: "Аксенов дует в подзорную трубу и удивляется, что нету музыки. А потом глядит в тромбон и удивляется, что ничего не видно..." Можно я снова приду?

Прекрасная Эллен! Вы оказали мне большую честь. Ваши переводы чудовищны, но я думаю, они станут лучше. Мы вместе постараемся...

### ЗАГАДОЧНЫЙ КОТЕЛЬНИКОВ

Нас познакомили в одной литературной компании. Потом мы несколько раз беседовали в коридоре молодежной газеты. Бывший суворовец, кочегар, что-то пишет. Фамилия — Котельников.

Свои рассказы он так и не принес, хоть мы уславливались.

Теперь мне кажется, что я его сразу невзлюбил. Что-то подозрительное в нем обнаружил. А впрочем, это ерунда. Мы были в хороших отношениях. Единственное меня чуточку настораживало: литератор по образу мыслей, жил он весьма комфортабельно. Приобретал где-то шикарную одежду. Интересовался мебелью. Нельзя, будучи деклассированным поэтом, мечтать о каких-то финских обоях. А может быть, я просто сноб...

Зачем я рассказываю о Котельникове? Это выяснится чуть позже.

### ВСЕ РУШИТСЯ

Однажды Котельников попросил мои рассказы.

— У меня есть дядя, — сказал он, — главный редактор кинокомитета. Пусть ознакомится.

— Пусть.

Я дал ему подборку "Зона". И забыл о ней.

И вот пронесся слух — у Котельникова обыск.

Вообще наступила тревожная пора. Несколько молодых преподавателей ТПИ уволили с работы. Кому-то инкримини-

ровали "самиздат", кому-то чистую пропаганду. В городе шли обыски. Лекторы по распространению грозно хмурили брови.

Чем это было вызвано? Мне рассказывали такую версию.

Группа эстонцев обратилась с петицией в ООН. "Мы требуем демократии и самоопределения... Созаем всю тяжесть бремени власти... Вот наши условия..."

Через три дня этот меморандум передавали западные радиостанции.

Еще через некоторое время из Москвы поступила директива — усилить воспитательную работу. А это значит — кого-то уволить. Разумеется, помимо следствия над авторами меморандума. Ну и так далее.

У Котельникова был обыск. Не знаю, чем он провинился. Дальнейших санкций избежал. Не был привлечен даже в качестве свидетеля. Среди прочих бумаг у него изъяли мои рассказы. Я отнесся к этому спокойно. Разберутся — вернут. Не из-за меня же весь этот шум. Там должны быть горы "самиздата".

То есть, я был встревожен, как и другие, но не больше. Ждал верстку.

Вдруг звонит Эльвира Михайлова:

— Книжка запрещена. Подробностей не знаю. Все пропало. Говорить больше не могу...

Сначала я позвонил Котельникову:

— Кто тобой занимается?

— Майор Никитин.

Я пошел в КГБ. Захожу. Маленькая приемная, стул, две табуретки. Постучал в окошко. Выглянула женщина.

— К майору Никитину.

— Ждите.

Минут десять прошло. Заходит тип в очках. Среднего роста, крепкий, на инженера похож.

— Товарищ майор?

— Капитан Зверев.

— А майор Никитин?

— В командировке. Изложите мне ваши обстоятельства. Я изложил.

— Должен навести справки, — говорит капитан.

— Когда мне рукопись вернут?

— Наберитесь терпения. Идет следствие. В ходе его станет ясно, какие бумаги мы приобщим к делу. Позвоните в среду. Я вам сообщу.

— Когда Никитин вернется?

— Довольно скоро.

— А почему мою книжку запретили?

— Вот этого я сказать не могу. Мы к издательствам отношения не имеем. Это вы у них спросите.

Я направился к выходу. Тут он и говорит:

— В Канаде приходилось бывать?

— Нет, а что?

— Да так.

Я ушел. Чего это, думаю, он про Канаду спросил. Может быть, из-за Оскара Питерсона. Он ведь канадец...

И вдруг меня осенило. В подборке "Зона" есть такой рассказ — "Иностранец". Довольно старый. В нем показан эстонец, солдат, шовинист, который всех ненавидит, все ему чуждо. И вот он произносит такую бессмысленную фразу:

"Настоящий эстонец должен жить в Канаде!"

Ясно теперь, почему он спросил. Но ведь эту фразу произносит отрицательный герой. И вообще, когда я сочинял "Иностранца", мне и в Эстонии еще бывать не приходилось. Не то, что в Канаде. Служили у нас двое из этих мест, замкнутые, хмурые ребята. А про Канаду я выдумал. Как бы иронирую над эстонским шовинизмом.

Ладно, думаю, подожду.

Пошел в издательство. Эльвира Михайлова говорит:

— В принципе, я вам не должна была сообщать. Мне самой конфиденциально передали.

— Я пойду к Акселю Тамму.

— Не советую. Что вы ему скажете?

— Мол, ходят слухи.

— Это несерьезно. Ждите, когда он сам вас известит.

Уже в издательстве мне показалось, что люди здороваются смущенно. В редакции — то же самое.

День проходит, второй, третий.

Звоню капитану.

— Пока, — говорит, — никаких известий.

— Пусть мне рукопись вернут.

— Я передам. Звоните в пятницу.

Эльвира молчит. На работе какая-то странная обстановка.

Или мне все это кажется...

Пятница наступила. Решил не звонить, а пойти в КГБ.

Захожу в приемную. Спускается новый, в очках.

— Мне бы капитана Зверева.

— Болен.

— Вы майор Никитин?

— Он в командировке. Изложите свои обстоятельства мне.

Я начал понимать их методу. Каждый раз выходит новый человек. Каждый раз я снова объясняю, в чем дело. То есть, отношения не развиваются. И дальше приемной мне хода не будет...

Я изложил свои обстоятельства.

— Буду узнавать.

— Когда мне рукопись вернут?

— Если рукопись будет приобщена к делу, вас известят.

— А если не будет приобщена?

— Тогда мы передадим ее вашим коллегам.

— В секцию прозы?

— Я же говорю — коллегам, журналистам.

— Они-то при чем?

— Они ваши товарищи, пишущие люди. Разберутся, что к чему.

Товарищи, думаю, Брянский волк мне товарищ...

Я спросил:

— Вы мою рукопись читали?

Просто так спросил, без надежды.

— Читал, — говорит.

— Ну и как?

— По содержанию, я думаю, нормально... Так себе. Ну, а по форме...

Я смущенно и горделиво улыбнулся.

— По форме, — заключил он, — ниже всякой критики...

Прощались мы вежливо, я бы сказал — дружелюбно.

В понедельник на работе какая-то странная обстановка. Здороваются, но с испугом.

Парторг говорит:

— В три часа будьте у редактора.

— Что такое?

— В три часа узнаете.

А ведь я был с ним на ты.

Подходит ко мне дружок из отдела быта, шепчет:

— Пиши заявление.

— Какое еще заявление?

— По собственному желанию.

— С чего это?

— Иначе тебя уволят за действия, несовместимые с престижем республиканской газеты.

— Не понимаю...

— Скоро поймешь!

Написал, как дурак, заявление. Положил во внутренний карман.

Дело приближается к трем. Захожу в кабинет редактора. Люди уже собрались. Что-то вроде президиума образовалось. Курят. Искося поглядывают.

Сели.

— Товарищи, — начал редактор...

## ГРОМ НЕБЕСНЫЙ

— Товарищи, — начал редактор, — мы собрались, чтобы обсудить... Разобраться в истоках морального падения... Товарищ Довлатов легкомысленно передал свою рукопись "Зона" человеку, общественное лицо которого... Которым занимаются энные органы... Нет уверенности, друзья мои, в том... А что, если этой книгой размахивают наши враги?... Идет борьба... Мы знали Довлатова, как способного журналиста... Но это был человек двойной, я бы сказал... Два лица, товарищи... Мы хотим, образно говоря, понять... Но это второе лицо искажено гримасой отвращения ко всему, что составляет... Мне трудно говорить... Товарищи ознакомились с рукописью. Прошу высказываться...

Господи, что тут началось. Я даже улыбнулся сначала.  
Заместитель редактора К. МАЛЫШЕВ:

— Довлатов скатился в болото... Впрягая в колесницу...  
Опорочил все самое дорогое...

Костя, думаю, ты ли это? Ты ли мне за стакан портвейна  
выписывал фиктивные командировки? Сколько было по-  
пито!..

Второй заместитель редактора Б. НЕЙФАХ:

— У него все беспросветно, мрачно... Нравственные калеки,  
а не герои... Где он все это берет?.. Как он в лагере оказался?..  
И что такое лагерь? Символ нашего общества? Лавры Солже-  
ницына не дают ему покоя...

Ответственный секретарь И. ПОПУЛОВСКИЙ:

— Довлатов опередил... У Солженицына не так мрачно...  
я читал "Ивана Денисовича", там есть какие-то положитель-  
ные эмоции... Довлатов все перечеркнул...

Заведующий военно-патриотическим отделом И. ГАСПЛЬ:

— Один вопрос. Ты любишь свою родину?

Я:

— Даже на особом режиме не встречал человека, который...  
ГАСПЛЬ (перебивает) :

— Тогда объясни. Ведь это же политическая диверсия!

Я начал говорить. До сих пор мучаюсь. Как я унизился  
до проповеди в этом зверинце?! Боже мой, что я пытался  
объяснить! А главное — кому?

— Трагические основы красоты... Чехов... "Остров Саха-  
лин"... "Босяки"... Максим Горький... "Кто живет без печали  
и гнева, тот не любит отчизны своей..."

НЕЙФАХ (перебивает) :

— Кто это написал? Какой-нибудь московский диссидент?

Я:

— Это стихи Некрасова! Позор!

НЕЙФАХ:

— Не думаю.

Секретарь партийной организации Л. КОКК (встает, дожи-  
дается полной тишины) :

— Товарищи! Свойственно ли человеку испражняться?  
Да, свойственно. Но только ли из этого состоит его жизнь?..

Существует ли у нас гомосексуализм? Да, в какой-то мере  
пока существует. Значит ли это, что гомосексуализм — един-  
ственный путь?.. Довлатов изображает самое гнусное, самое  
отталкивающее... Все его герои уголовники, вохровцы,  
антисемиты...

Б. НЕЙФАХ (Жена Нейфаха — дальняя родственница  
Льва Копелева. Вот еще почему он так дрожит за свою шкуру.  
Гордился бы.):

— За антисемитизм я бы ему!..

И. ГАСПЛЬ:

— Но есть и проявления сионизма!

К. МАЛЫШЕВ:

— Это одно и то же!

Л. КОКК:

— Я много бывал за границей. Честно скажу, живут не-  
плохо. Были мы у одного миллионера... Хорошая квартира,  
дача... Но это все куплено ценой моральной деградации. Он  
думает, свобода... Свобода есть. Для тех, кто прославляет  
империализм! Теперь возьмем одежду. Конечно, синтетиче-  
ские вещи — дешевле. Но они быстро изнашиваются. Помню,  
брал я мантию в Стокгольме...

Г. ТУРОНОК:

— Вы несколько отвлеклись.

Л. КОКК:

— Я заканчиваю. Возьмем наркотики. Они, конечно, дают  
забвение, но временное. А про сексуальную революцию  
я и говорить не хочу...

Г. ТУРОНОК:

— Мне кажется, вы не любите простой народ. Я тоже родил-  
ся в интеллигентной семье. Но вот попадешь иногда в дерев-  
ню — открытые лица, улыбки, человек труда... Бывало, мат  
стоит, а приятно... Вы не любите простой народ...

И это он — мне! Тысячу раз отмечалось, что я, единствен-  
ный, говорю спасибо машинисткам. Единственный убираю  
за собой...

И. ПОПУЛОВСКИЙ:

— Ведь язык у него хороший, образный. Мог бы создавать  
художественные произведения...

Г. ТУРОНОК:

— Пусть Довлатов выскажется.

Тут я слегка мобилизовался:

— Что здесь происходит? Как можно обсуждать рукопись, не предназначавшуюся к изданию? Это грубое нарушение авторского права. Почему художественное произведение судят журналисты, люди в этой области некомпетентные?.. Я категорически не признаю суда над литературой! Вопросов прошу не задавать. Отвечать не считаю целесообразным...

Зав. сельхозотделом протягивает мне валидол. Век ей этого не забуду.

Г. ТУРОНОК (смягчаясь) :

— Довлатову надо подумать. У него будет время. Я знаю, что он написал заявление об уходе... (Так, значит, моего дружка подослали.) Мы не будем возражать.

Я (с горделивым пафосом) :

— Увольняясь, я делаю себе маленький подарок. Легкая компенсация за то, что я пережил в издательстве... Здесь нечем дышать! Вы будете стыдиться этого беззакония... Человеческие подонки!

## КОРИДОРЫ ВЛАСТИ

Я пошел в ЦК к знакомому инструктору Ване Трулю. По выражению его лица было ясно, что он в курсе событий.

— Что же это такое? — говорю.

Инструктор предупреждающе кивнул в сторону телефона:

— Выйдем.

Инструктор ЦК КП Эстонии и бывший журналист партийной газеты совещались в уборной.

— Есть один реальный путь, — сказал он, — ты идешь на завод чернорабочим. Потом становишься бригадиром. Молодежная газета печатает тебя в качестве рабкора. Через два года ты пишешь о заводе книгу. Ее издают. Тебя принимают в Союз. И так далее...

— Подожди, Ваня. Я уважаю рабочий класс, но для чего же мне идти на завод? У меня, слава богу, есть профессия, которую я люблю.

— Ну тогда не знаю.

— Ты мне лучше объясни, что это за люди! Я же с ними два года работал! Хоть бы одно слово правды! Там были ребята, которые читали мои вещи. Читали и хвалили. А теперь молчат...

— Удивляться тут нечему. Ты же и выбрал эту среду. А теперь удивляешься. И на заводе, конечно, бардак, но не такой... Послушайся моего совета...

Я позвонил в КГБ. Разыскал Никитина. Видно, ему уже не стоило прятаться.

Я все изложил.

— Позвольте, — говорит Никитин, — что вам, собственно, угодно? Мы передали рукопись вашим товарищам. Обращайтесь к ним. Редакции, издательства вне нашей компетенции...

Я хотел выявить конкретное лицо, распорядившееся моей судьбой. Обнаружить реальный первоисточник моей неудачи. Поговорить, наконец, с человеком, обладающим безоговорочной исполнительной властью. Но это лицо оставалось в тени. Действовали какие-то марионетки, призраки, тени. А я все твердил:

— Покажите мне человека, виновного в моих несчастьях, я сумею его убедить...

Я спросил Акселя Тамма:

— От кого лично вы получили инструкцию?

— Со мной говорил прямой начальник.

— Кто именно?

— Из комитета по делам печати.

— Могу я с ним поговорить?

— Бесполезно. Он скажет — идите к Акселю Тамму.

Ловко придумано. Убийца видит свою жертву, и потому ему доступно чувство сострадания. В критическую секунду он может прозреть и раскаяться. Со мной поступили иначе. Убийца в глаза меня не видел. И я его не видел. Даже не знал его имени. То есть, он был избавлен от укоров совести, от страха мщения. От всего того, что называется мерзким словом — эксцессы.

Одно дело — треснуть врага по голове алебардой, или

пронзить штыком. И совсем другое — нажать, к примеру, кнопку в Азии и уничтожить Британские острова...

В общем, круг замкнулся. Комитет просигналил Туронку. Туронку, одержимый рвением холуя, устроил весь этот спектакль. Издательство умыло руки. Что им готовый типографский набор? Подумаешь, убытки... Ведь не частные же... Государство не обеднеет. У него можно красть до бесконечности...

Я пошел к Григорию Михайловичу Скульскому. Бывший космополит, ветеран эстонской литературы, мог дать полезный совет.

Григорий Михайлович сказал:

— Знаете что, вам надо покаяться.

— В чем?

— Это не важно. Главное — в чем-то покаяться. Что-то признать. Не такой уж вы ангел.

— Я совсем не ангел.

— Вот и покайтесь. У каждого есть, в чем покаяться.

— Глупо раскаиваться в том, что я, например, курю.

— Совсем не глупо. Курение — есть легкомысленная привычка. Согласны? Вот и напишите: "Раскаиваясь в своем легкомыслии, я прошу..." А дальше про книжку. Покайтесь в туманной форме. Напишите Кэбину. Кэбин глупый, но добрый...

— А вам приходилось каяться?

— Еще бы.

— В чем?

— Например, в том, что я готовил покушение на Уборевича. К счастью, в этот момент Уборевича арестовали. За покушение на Блюхера, если не ошибаюсь. А Блюхера за покушение на Якира. А Якира...

Таллинская эпопея завершилась. Я уезжал в красивом ореоле политических гонений. Какие-то люди подходили ко мне, украдкой жали руки:

— Ты не один, старик!

Ходили слухи, что я героически нес крамольный транспарант от Мустамяэ до здания ЦК. А выступал — не то за лега-

лизацию бриджа, не то за освобождение спортсмена Лейуса, который месяц назад придушил свою жену...

Я убедился, что все бесполезно. Купил билет до Ленинграда. Перед отъездом написал Кэбину.

**"Первому секретарю ЦК КП Эстонии  
тов. Кэбину И.Г.  
от корреспондента "Советской Эстонии"  
С. Довлатова**

**Уважаемый Иван Густавович!**

Решаюсь обратиться к Вам в связи с личным делом, исключительно важным для меня. Вот его суть.

С 1965 года я занимаюсь журналистикой. С 1968 — член Союза. С лета 1973 года — корреспондент "Советской Эстонии".

В сентябре 1973 года я представил в издательство "Ээсти раамат" сборник под общим названием "Городские рассказы". Книга была положительно отрецензирована, со мной заключили договор. К началу 1975 года она прошла все инстанции, была набрана и одобрена в ЦК КПЭ. Одновременно готовилось издание небольшой детской повести.

Трудно выразить, как много значит для начинающего автора первая книга. Ведь я ждал ее более десяти лет.

И вот оба сборника (один из них совершенно готовый к печати) запрещены. Что же произошло?

Дело в том, что месяца три назад я передал часть моих рукописей некоему В. Котельникову, с которым не был достаточно хорошо знаком. В. Котельников намеревался показать их своему родственнику, главному редактору Кинокомитета тов. Бельчикову, суждения которого могли быть мне полезны.

Затем мне стало известно, что подборка моих рассказов "Зона" объемом в 110 машинописных страниц изъята у Котельникова сотрудниками КГБ, а сам Котельников причастен к делу, по которому ведется следствие. Повторяю, ничего предосудительного о Котельникове мне известно не было. Рукопись передавалась с деловой и творческой целью.

"Зона" — это подборка рассказов, написанных 9—12 лет назад. Они представляют собой записки надзирателя исправительно-трудовой колонии особого режима. Они построены на автобиографическом материале. Считаю возможным добавить, что за время службы я неоднократно поощрялся грамотами и знаками воинского отличия.

Рассказы эти — первые опыты начинающего автора, подавленного и несколько бравирующего экзотичностью пережитого материала. Я собирался продолжить работу над ними. В окончательный вариант моей первой книги эти рассказы не входят.

Мне понятно, что Вы не располагаете временем, чтобы ознакомиться с рукописью "Зона". Может быть, Вы смогли бы дать ее на отзыв кому-то из литераторов или прочитать короткую рецензию В. Беззубова, хранящуюся в издательстве?

Я надеюсь и предполагаю, что "Зона" при всем ее несовершенстве не могла быть и не стала орудием антисоветской пропаганды, и уж во всяком случае, я категорически не имел такого намерения.

Раскаиваясь в своем легкомыслии, я думаю все-таки, что наказание — запрет на мою книгу — превосходит мою непредумышленную вину.

Десять лет я по мере сил работал в органах партийной печати. Уже одно это, надеюсь, дает какое-то представление о моих жизненных идеалах.

Всю свою сознательную жизнь я мечтаю о профессиональной литературной деятельности. С первой книгой, после 10 лет ожидания, связаны все мои надежды. Закрывая мне надолго дорогу к творчеству, литературные инстанции приводят меня к грани человеческого отчаяния. Именно это, поверьте, глубокое чувство заставляет меня претендовать на Ваше время и Вашу снисходительность.

С уважением С. Довлатов  
3 марта 1975 года".

Через два месяца в Ленинград пришел ответ:

"№ 7/32.

ЦК КП Эстонии не может рекомендовать Вашу книгу к изданию по причинам, изложенным Вам в устной беседе в секторе ЦК.

25 апреля 1975 г.

Зам. зав. отделом пропаганды  
и агитации ЦК КП Эстонии  
(Х. Маннермаа)"

Что еще за устная беседа в секторе ЦК? Был частный разговор с Трулем. И не в секторе ЦК, а в гальюне.

Я написал в издательство:

"Директору издательства  
"Ээсти раамат"  
от автора Довлатова С.Д.

Копия — в отдел  
пропаганды ЦК КПЭ  
тов. Трулю Я.Я.

Уважаемый товарищ директор!

В июне 1974 года издательство заключило со мной договор на книгу рассказов. До этого рукопись была положительно отрецензирована доцентом ТГУ В. Беззубовым. Редактор Э. Михайлова проделала значительную работу. Книгу сдали в набор. Появились гранки, затем верстка. Шел нормальный издательский цикл. Внезапно я узнал, что книга таинственным образом приостановлена. Никаких официальных сведений ни в одной из инстанций я получить не смог. Причины запрета доходили до меня в виде частных, нелепых и фантастических слухов.

За книгу, мистическим способом уничтоженную, я получил 100% авторского вознаграждения. И это единственный акт, доступный моему пониманию.

Повторяю, официальная версия запрета мне не известна.

Настоятельно прошу Вас разобраться в этом деле.

1 окт. 75 г. С уважением (С. Довлатов)".

Ответ:

"Государственный комитет совета  
министров Эстонской ССР по делам  
издательств, полиграфии и  
книжной торговли

Копия — в отдел  
пропаганды ЦК КПЭ

Издание Вашей книги было остановлено по известным Вам причинам. В настоящее время вернуться к вопросу ее издания не представляется возможным также потому, что республиканское издательство по существующему положению издает на русском языке произведения местных авторов.

Директор (Р. Сийрак)."

Я снова написал. В последний раз:

"Директору издательства  
"Ээсти раамат"  
тов. Сийраку.  
Копия — в отдел  
пропаганды ЦК КПЭ.

Уважаемый товарищ Сийрак!

Вы, очевидно, принимаете меня за идиота. Чем еще объяснить характер Вашего письма? Я спрашиваю о причинах, по

которым не издадут мою книгу. Вы отвечаете: "...По известным Вам причинам". И дальше: "...Издательство публикует только местных авторов". Это после того, как со мной заключили договор, выплатили мне гонорар, и книга прошла весь издательский цикл. Не скрою, Ваша отписка показалась мне издательской.

Что я должен предпринять? Апеллировать к международным правовым инстанциям? Это шаг преждевременный и ложный...

Еще раз объясняю: литература — дело моей жизни. Вы ставите меня в положение, при котором нечего терять.

Простите за резкость.

С уважением

12 ноября 75 года (С. Довлатов) "

Ответа не последовало.

## Я ВЕРНУЛСЯ В МОЙ ГОРОД

Три года я не был в Ленинграде. И вот приехал. Встретился с друзьями. Узнал последние новости.

Хейфиц сидит. Виньковецкий уехал. Марамзин уезжает на днях.

Поговорили на эту тему. Один мой приятель сказал:

— Не поеду! Мне и здесь... плохо!

Второй:

— Куда это я поеду? Пусть ОНИ уезжают!

Третий:

— Чем вы недовольны, если разобраться? Их не печатают...

А Христа печатали, как говорил Манделъштам?.. Не печатают, зато вы живы... Они вас не печатают? А вы бы их, я думаю, и в трамвай не пустили!..

Перспективы были самые туманные. Если раньше мы хоть в Союз имели доступ, читали свои вещи, теперь и этого не было.

Рукописи тормозились на первой же стадии.

Я отнес рассказы в "Звезду" и в "Аврору". Ирма Кудрова ("Звезда") ответила мне по телефону:

— Понравилось. Но вы же знаете, чем больше это нравится мне, тем меньше шансов, что это понравится Холопову.

В "Авроре" произошла совсем уж дикая история.

Клепикова рассказы одобрила. Передала новому заведующему отделом прозы В. Козлову. К этому времени у него скопилось рукописей — целая гора! Физически сильный Козлов взял это все и отнес на помойку. Разве можно такую гору прочесть?!

Я получил от Клепиковой экземпляр одного из своих рассказов. И записку на бланке:

"АВРОРА"

Общественно-политический  
и литературно-художественный  
ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ,  
Союза писателей РСФСР  
и Ленинградской писательской организации.

Дорогой Сережа!

Вот нашла экземпляр, сохранившийся после разбоя, учиненного Козловым. И это все. Остальное, как вы знаете, пропало. Козлов должен все перепечатать.

Будьте здоровы.

10 марта 1975 года. (Лена)

С Козловым я в дальнейшем познакомился. Добродушный глупый человек. Похож на Спартака Мишулина в худшие его часы.

Я перелистал ленинградские журналы. Тяжелое чувство охватило меня. Не просто дрянь, а какая-то безликая вязкая серость. Даже названия почти одинаковые: "Чайки летят к горизонту", "В ответе за все", "Продолжение следует", "Звезда на ладони"...

Будет ли этому конец?!...

"Соло на ундервуде":

Лениздат выпустил книжку. Под фотоиллюстрацией значилось:

"Личные вещи партизана Боснюка. Пуля из его черепа и гвоздь, которым он убил охранника".

Б. Раевский написал повесть из дореволюционной жизни. В ней была такая фраза:

"Вошла горничная. Пушистые светлые локоны выбивались из-под ее кружевного фартука"...



## МОЙ КОСТЕР

Я искал работу. Сунулся в многотиражку ЛОМО. После республиканской газеты это было удивительно. К счастью, работа оказалась временной. Тут мне позвонил Воскобойников. Он заведовал прозой в "Костре". Литсотрудник Галина Алексеевна собиралась в декретный отпуск. Воскобойников предлагал ее заменить:

— Галины Алексеевны не будет месяцев шесть, а к тому времени она снова забеременеет...

Я был уверен, что меня не возьмут — все-таки орган ЦК ВЛКСМ. А я как-никак скатился в болото и куда-то там впрягся.

Недели три решался этот вопрос. Затем меня известили, что я должен приступить к работе.

Это было для меня неожиданностью. Уверен, что мою кандидатуру согласовывали в Обкоме. Так положено. А значит, Обком не возражал. Видно, есть у них такая метода — не доводить до полного отчаяния. Не вынуждать к опрометчивым поступкам.

Я спросил Воскобойникова:

— Кого мне опасаться в редакции?

Валерий ответил солидно:

— Всех!

Об этом человеке мне хотелось бы рассказать несколько подробнее. Начинал он вместе с очень сильной группой молодежи. Я имею в виду Ефимова, Битова, Марамзина. Неглупый и талантливый, он быстро разобрался, что к чему. Понял, что угодить издательствам не так уж сложно. Лавры изгоя его не прельщали. Воскобойников начал печататься.

Его литературные данные составляли оптимальный вариант. Ведь полная бездарность — не рентабельна. Талант — настораживает. Гениальность — тем более. Наиболее ходкая валюта — умеренные литературные способности.

Воскобойников умерил свой талант. Издал подряд шестнадцать книг. Первые были еще ничего. С каждым разом молодой писатель упрощал свои задачи. Последние его кни-

ги — сугубо утилитарны. Это биографии вождей, румяные политические сказки. Производил их Воскобойников умело, быстро и доброкачественно. Лучше других.

Он потерял товарищей своей молодости. Беспредельная уступчивость и тяга к комфорту превратили его в законченного функционера.

Оставив живую творческую среду, Воскобойников не примкнул и к разветвленному бойкому клану литературных мешочников. Наглухо застрял между этажами.

Женственная пугливость делала его игрушкой любого злодейского начинания. За каждым новым падением следовало искреннее раскаяние. И в конечном счете — полное безысходное одиночество.

К Воскобойникову относились иронически. Его высокий материальный статус законно раздражал не преуспевших в жизни бедняков.

К чести Воскобойникова нужно признать, что он не заблуждался на собственный счет. Знал, что делает, на что идет. Наглядно мучился и принимал какие-то решения. Вся жизнь его свидетельствует — нет большей трагедии для мужчины, чем полное отсутствие характера.

"Соло на ундервуде":

**Звоню Воскобойникову:**

— **Надо бы повидаться.**

— **Сегодня никак. Еду в Разлив. Мы там дачу снимаем.**

**Я спросил:**

— **Комнату или шалаш?**

**Воскобойников трубку повесил...**

**Писателю Воскобойникову дали мастерскую. Там не было уборной. Находилась мастерская рядом с вокзалом. Воскобойников пользовался железнодорожным сортиром. Но после двенадцати ночи на вокзал пускали лишь тех, у кого билет на поезд. Тогда Воскобойников приобрел месячную карточку до первой станции, до Боровой, если не ошибаюсь. Карточка стоила рубля два. То есть безобидная функция организма стоила Воскобойникову копеек шесть в день. Одна-две копейки за мероприятие. Он был единственным гражданином СССР, который мочился не бесплатно.**

**Характерная для Воскобойникова история...**

Как-то раз Воскобойникова обидели американцы, непунктуально себя повели, не явились в гости или что-то в этом роде. Воскобойников надулся:

— Я, говорит, напишу Форду письмо. Мол, не пришли, не позвонили...

А Бродский и говорит:

— Ты напиши "до востребования", а то Форд каждый день бегаёт на почту и все убивается: "Снова от Воскобойникова — ни звука!"...

Честно говоря, ко мне Воскобойников всегда относился прекрасно. Вот и теперь сам предложил работу. Хотя вполне мог подыскать более несомненную кандидатуру. В детской прозе я не разбираюсь. Диплома у меня нет. Влиятельных покровителей — тем более. И все-таки он настоял. Меня взяли.

Мне было непонятно, зачем я им понадобился.

Лифшиц (это было до его отъезда) пояснил мне:

— Вы человек с какими-то моральными проблесками. А это большой дефицит. Если взять негодяя, он постепенно вытеснит Галину Алексеевну. А вы — человек до некоторой степени порядочный...

## КЛУБОК ЗМЕЙ

Я убедился в том, что редакционные принципы неизменны. Система везде одна и та же. Есть люди, которые умеют писать. И есть люди, призванные командовать. Пишущие зарабатывают меньше. Чаще улыбаются. Больше пьют. Платят алименты. Начальство состоит, в основном, из разросшихся корректоров, машинисток, пионервожатых, деятелей месткома.

Ощущая свое творческое бессилие, эти люди всю жизнь шли надежной административной тропой. Отсутствие профессиональных данных компенсировалось неуязвимой благонадежностью.

Пишущие не очень дорожат работой. Командиры судорожно за нее цепляются. Командиров можно лишить их привилегий. Пишущим нечего терять.

Заместителем редактора "Костра" был старый пионервожатый Юркан. За восемь месяцев я так и не понял, что составляет круг его обязанностей. Неизменно выпивший,

он часами сидел в кабинете. Порой его начинала мучить совесть. Он заходил в одну из комнат, где в этот момент толпилось побольше народа. Брал трубку:

— Алло! Это метеостанция? Фролова, пожалуйста! Обедает? Простите... Алло! Секция юных натуралистов? Валерия Модестовна у себя? Ах, в отпуске? Простите... Алло! Будьте добры Климовицкого!.. Жаль... Передайте ему, что звонил Юркан. Алло!..

Секретарша однажды шепнула мне:

— Обрати внимание. Юркан набирает пять цифр. Не шесть, а пять. И говорит всякую чепуху в пустую трубку. Симулирует производственный энтузиазм.

— Зачем? — поразился я.

— Ему стыдно...

Редактировал "Костер" детский писатель Сахарнов. Я прочитал его книги. Они мне понравились. Неприятательные и забавные морские истории.

Он выпускал шесть книжек в год. Недаром считают, что ресурсы океана — безграничны.

Дельфины нравились Сахарнову больше, чем люди. Он этого даже не скрывал.

Трудоспособный и дисциплинированный, он занимался собственной литературой. Журнал был для него символом, пакетом акций, золотым обеспечением.

При этом Сахарнов умел быть обаятельным. Обаяние же, как известно, уравнивает любые пороки.

В общем, он мне нравился.

У редактора был денщик, мальчик на побегушках, некий Орлов. Редактор когда-то возвысил его до штатного места. И вот теперь Орлов демонстрировал рабскую преданность.

В конце дня он бегал ловить такси для Сахарнова. Иногда стаскивал джемпер и мчался на улицу в одной рубашке. То есть, совершал на глазах у босса рискованный подвиг.

Все, что я знал о нем, было таинственно и уголовно наказуемо. Сначала он хотел всучить мне автограф Льва Толстого, подделанный дрожащей неисконной рукой. Затем — утраченный секрет тульских пряников.

Потом объявил в журнале тиражом 600 000 всесоюзный

конкурс юных нумизматов. В редакцию хлынул денежный поток — школьники высылали свои коллекции. Орлов их беспардонно присваивал.

Вслед за денежным потоком явился наряд ОБХС. Друга малышей едва не посадили года на три. Выручил его Сахарнов...

Отделом спорта заведовал Верховский, добрый, бессловесный человек. Он неизменно пребывал в каком-то аморфном самозабвении. По темпераменту был равен мертвому грузину. Любая жизненная мелочь побуждала Верховского к тяжким безрезультатным раздумьям.

Однажды я мимоходом спросил его:

— Штопор есть?

Верховский задумался. Несколько раз пересек мой кабинет. Потом сказал:

— Сейчас я иду обедать. Буду после трех. И мы вернемся к этому разговору.

Прошел час. Мукузани было выпито. (Художник Зуев без усилий выдавил пробку корявым мизинцем.) Появился Верховский. Уныло взглянул на меня и сказал:

— Штопора у меня, к сожалению, нет. Есть французский ключ...

Самой шумной в редакции была Пожидаева. Этакий пятидесятилетний сорванец.

Вечно уязвленная, капризная, заплаканная, она повсюду различала интриги и наветы. Начав типографским корректором, она переросла в заведующую. Трагическая жизнь интеллигента, не соответствующего занимаемой должности, превратила ее в оживленную мегеру.

Наибольшую антипатию вызывала у меня Кокорина, ответственный секретарь журнала. Она тоже по злосчастному совпадению начинала корректором. Поиски ошибок стали для нее единственным жизненным импульсом. Не из атомов и молекул состояло все кругом — из непростительных ошибок. Ошибок мелких, пунктуационных, стилистических, гражданских, военных, административных... В мире ошибок Кокорина чувствовала себя ловцом у Господа!

Ходили настойчивые слухи о ее преклонной девственности.

Возможно, эта тягостная биологическая аномалия необратимо искадила ее психику.

Любое проявление жизни травмировало Кокорину. Она не увидела юмор, пирожные, свадьбы, Европу, косметику, шашки, такси, мультипликационные фильмы, отвлеченные разговоры... Ее раздражали меченосцы в аквариуме...

Помню, она возмущенно крикнула мне:

— Вы улыбались на редсовещании!

И в другой раз:

— К нему заходят люди!

На почетном месте в ее шкафу хранилась биография Сталина.

В редакции с ней без повода не заговаривали даже мерзавцы. Просить ее об одолжении казалось абсурдом. Все равно, что одолжить у скорпиона жало.

Кокорина настолько опротивела мне, что я посвятил ей стихи. Девятое и последнее стихотворение в моей жизни.

## НЕВЕСТА СТАЛИНА

Ты половой достигла зрелости,  
Лет тридцать пять тому назад,  
Но уберечь сумела в целости,  
То, чем как жизнью дорожат.

Ты больше всех любила Сталина,  
Его поступки и дела,  
Портрет увидела, растаяла,  
И жить с другими не смогла.  
Потом ты записалась в мафию,  
Сознательно, не сгоряча,  
И постигала орфографию,  
Доносы ложные строча.

А вождь громил языкознание,  
Давил троцкистов и жидов,  
И был к любому злодеянию,  
Как пионер — всегда готов!

Да, много вас, невесты Сталина,  
 Неисчислим его гарем,  
 Недаром волки бродят стаями,  
 Как утверждает доктор Брем!  
 Придет минута искупления,  
 О, муха гнусная Цеце!..  
 Кровавый отблеск преступления,  
 На небольшом твоём лице!

Я работал в "Костре". То есть, из жертвы литературного режима превратился в функционера этого режима.

Функционер — очень емкое слово. Кем бы ты ни был, каковы бы ни были твои убеждения — занимая официальную должность, ты становишься человеком функции. Вырваться за диктуемые ею пределы — невозможно без губительного скандала. Функция подавляет тебя. В угоду ей твои представления незаметно искажаются. Ты уже не принадлежишь себе.

Раньше я, будучи автором, имел все основания ненавидеть литературных чиновников. Теперь меня самого ненавидели.

Я вел двойную жизнь. В "Костре" душил живое слово. Затем надевал кепку и шел в "Детгиз", в "Аврору", в "Советский писатель". Там душили меня.

Я был одновременно хищником и жертвой.

Первое время действовал честно. Вынимал из кучи макулатуры талантливые рукописи и передавал начальству. Мне их брезгливо возвращали. Постепенно я уподобился моим коллегам из "Авроры" и "Звезды". На первой же стадии внушал молодому автору:

— Старик, это бесполезно. Не пойдет...

— Но ведь печатаете же бог знает что!

Да, мы печатали бог знает что. Не мог же я, в самом деле, из-за каждой опубликованной бездарной рукописи подавать заявление об уходе.

Короче говоря, моя редакторская деятельность ничем возвышенным не ознаменовалась.

К этому времени журнал безнадежно утратил свои преиму-

щества. Традиции Маршака были преданы забвению. Горны и барабаны заглушили щебетание птиц.

Все больше уделялось места публицистике. Этими материалами заведовал Герман Балуев, номенклатурный работник, отличный журналист, из тех, что "продаются лишь однажды". Тонкий и порядочный в обыденных делах, он был слеп во всем, что лежало за горизонтом его разумения. Кроме того, номенклатурные должности заметно развратили его, приобщив к малодоступным житейским благам. Он поглупел.

В этом смысле характерна история с Лифшицом.

### ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Лифшиц заведовал массовым отделом. Проработал в "Костре" четырнадцать лет. Пережил трех редакторов.

Относились к нему с большим уважением. Его корректный тихий голос почти всегда бывал решающим. Талантливый версификатор, Леша с успехом работал во многих жанрах. Помню одно его чудное детское стихотворение. Гвоздь приходит к Молотку. Тот его гостеприимно встречает. Кончается стихотворение так:

Молоток жмет гостю лапки,  
 А потом как даст по шляпке!

И долго удивляется:

Куда же гость девается?

Втайне он писал лирические стихи, которые нравились Бродскому.

Его кукольные пьесы шли в двадцати театрах. Это приносило до шестисот рублей ежемесячно.

Четырехкомнатная квартира, роскошная финская мебель, замша, поездки на юг — Леше были доступны все ходовые стандарты отечественного благополучия.

Неожиданно Лифшиц подал документы в ОВИР. Не буду сейчас говорить о причинах, вынудивших его к этому.

В "Костре" началась легкая паника. Все-таки орган ЦК ВЛКСМ. Разумно действовал один Сахарнов. Он хотел, чтобы вся эта история прошла без лишнего шума. Остальные жаждали крови, требовали собрания, бурных дискуссий.

Однако не это поразило меня. В редакции повторялась одна и та же фраза:

"Ведь он хорошо зарабатывал!"

Людам в голову не приходило, что можно руководствоваться какими-то соображениями, помимо денежных.

Да и не могло им такое в голову прийти. Ведь тогда каждый из этих людей должен был бы спокойно признать:

— Человек убегает от нас!

### ЧЕМ ХУЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

В июле 1975 года я очередной раз направил книгу в "Советский писатель". Третья моя попытка в этом издательстве. Первая относится к шестьдесят девятому году.

Я тогда познакомился с издательским редактором Фридой Германовной Кацас. Фрида сама предложила мне зайти. Рукопись потом лежала у нее четыре месяца. Я появлялся каждые две-три недели. Фрида смотрела на меня полными слез глазами.

— Это так своеобразно, — вновь и вновь повторяла она. Однако книга моя так и не была зарегистрирована.

Я не обижался. Знал, что прав у Фриды Германовны — никаких.

— Если я отдам вашу книгу на рецензию, ее зарежут. Когда еще вы напишите вторую, — уныло шептала она.

— Я уже написал вторую книгу.

— Ее тоже зарежут. Нужно будет ждать третью.

— Я уже написал третью книгу.

— Ее тоже зарежут.

— У меня есть четвертая.

— Ее тоже...

— Пятая...

— И ее...

— Шестая...

К этому времени у меня было шесть готовых сборников. Фрида хотела мне помочь. Но что она могла — бесправная, запуганная, робкая?!

Теперь я решил действовать четко и официально. Никаких товарищеских переговоров. Подаю книгу. Жду рецензии. Потом...

Я знал, что рукопись мне возвратят. Зачем же, спрашивается, пошел в издательство? Неискушенному человеку это трудно объяснить. Казалось бы, все понимаешь. И вот идешь, надеешься...

Книгу зарегистрировали. Я положил ее на стол Чепурову. Главный редактор увидел название и сразу же заметно поскучнел. Он ждал чего-нибудь такого: "Герои рядом", или как минимум — "Солнце на ладони". А тут загадочные и неясные "Пять углов". Может быть, имеется в виду пятиконечная звезда? Глумление над символом?

Я ждал три месяца. Потом зашел в издательство.

— Это так своеобразно, — начала было Фрида.

Я вежливо ее прервал:

— Когда будет готова рецензия?

— Я еще не отдавала...

— Почему?

— Хочу найти такого рецензента...

— Не надо. Отдайте любому. Мне все равно.

— Но ведь книгу зарежут!

— Пусть. Тогда я буду действовать иначе. Мне надоело! Есть у вас какой-нибудь список постоянных рецензентов?

— Есть. Вот он.

— Кто там первый?

— Авраменко.

— Отдайте ему.

— Авраменко умер. Кроме того, он поэт.

— А кто последний?

— Урбан.

— Жив?

— Конечно. Господь с вами...

— Дайте Урбану.

— Действительно. Как я не сообразила! Урбан — знающий и принципиальный человек. Он поймет, насколько это своеобразно...

Я ждал еще три месяца. Затем написал в издательство:

"Уважаемые товарищи!

В июле 1975 года я зарегистрировал у вас книгу "ПЯТЬ УГЛОВ" (Роман в двух частях). Прошло шесть месяцев. Ни рецензии, ни устного отзыва я так и не получил. За это время я написал третью часть романа — "СУДЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ". Приступаю к написанию четвертой. Как видите, темпы моей работы опережают издательские настолько, что выразить это можно лишь арифметическим парадоксом!

С уважением (С. Довлатов)."

Смысл и цели этого письма для меня самого были туманны, особенно в финале.

Однако через шесть дней мне позвонили. Рецензия была готова.

Я еще раз убедился, что доля абсурда совершенно необходима в ответственных предприятиях.

Еще раньше мне стало известно, что Урбан готовит положительную рецензию. Во всяком случае, роман ему понравился. Он говорил это приятелям. Общие знакомые передали мне.

И вот, рецензия готова. Фрида позвонила мне:

— Заходите.

Я пошел в издательство.

— Рецензия довольно своеобразная, — прошептала Фрида.

Я быстро ее перелистал.

"Сергей Довлатов писать умеет. Речь у него живая и стремительная. Характеристики острые и запоминающиеся. Он чувствует психологические ситуации и умеет рисовать их. Диалоги часто включают не только экспрессивную нагрузку, но и серьезные мысли. Вообще по всему тексту рассеяно немало интересных психологических наблюдений, сформулированных остроумно, ярко, я бы сказал — в состоянии душевного подъема, открывающего глубину в человеческом сердце, в отношениях между людьми. В общем, тут сказалось не только умение писать, но и умение видеть, житейская — скажем так — достоверность описываемого. Иными словами, Довлатов пишет жизнь, а не "сочиняет" литературу, ищет психологические и нравственные основания поступков, берет живой материал, а не конструирует беллетристическую само-

заводную игрушку. В его творчестве есть не только профессиональная, но и человеческая потребность, нравственный импульс, без которого литература невозможна..."

Комплименты настрожили меня. Я деловито заглянул в конец.

"...Если же говорить о редакционных делах, полагаю, что в таком виде роман не готов к изданию..."

Остальное можно не читать.

Что ж. Примерно этого я и ожидал. И все-таки расстроился.

Меня расстроило явное нарушение правил. Когда тебя убивают враги, это естественно. (Мы бы их в трамвай не пустили.). Но ведь Урбан действительно талантливый человек.

Знаю я наших умных и талантливых критиков. Одиннадцать месяцев в году занимаются прозой Бартена и Капицы, халтурят и лгут. Потом им дают на рецензию что-нибудь, заслуживающее внимания. Тогда-то критики и поднимаются во весь свой исполинский рост. Мобилизуют весь свой талант, весь ум, всю объективность. Всю свою неудовлетворенную взыскательность. И с этой вершины изголодавшимися ястребами кидаются на добычу.

Им скомандовали — "Можно!"

Им разрешили показать весь свой ум, весь талант, всю меру безопасной объективности.

Урбан написал справедливую рецензию. Написал ее так, будто моя книга уже вышла, лежит на прилавке. Написал со страстью борца за вечные истины.

Сунул бы он к Хаустову! Ему бы показали "гамбургский счет"! Ему бы показали объективность!

Умный критик хорошо знает, что можно и чего нельзя...

Я потом встретил его. На вид — рано сформировавшийся гадкий подросток.

Он заговорил с тревожным юмором:

— Хотите меня побить?

— Нет, — солгал я, — за что? Вы написали объективную рецензию.

Урбан страшно оживился:

— Знаете, интересная рукопись побуждает к высоким требованиям. А бездарная — наоборот...

Ясно, думаю. Бездарная побуждает к низким требованиям. В силу этих требований ее надо одобрить, издать. Интересная побуждает к высоким требованиям. С высоты этих требований ей надлежит уничтожить.

Нет у меня бездарных рукописей! Что же мне делать?!

С издательскими хлопотами я решил покончить навсегда. Есть бумага, перо, есть десяток читателей. И десяток писателей. Жалкая кучка народа перед разведением мостов...

## ПОТОМКИ ЯНА ГУСА

Завершилась моя временная работа в "Костре". Опубликовать что-нибудь стоящее я уже не рассчитывал. Подчинился естественному ходу жизни. Являлся к двум и шел обедать. Потом отвечал на запросы уязвленных авторов. Когда-то я сочинял им длинные искренние письма. Теперь ограничивался двумя строчками:

"Уважаемый товарищ! Ваш рассказ не отвечает требованиям "Костра"..."

На досуге я пытался уяснить, кто же имеет реальные шансы опубликоваться. Выявил семь категорий.

1. Знаменитый автор, само имя которого является пропуском. (Михалков, Алексин, Ходза и другие. Шансы — десять из десяти.)

2. Рядовой профессионал, личный друг Сахарнова. (Семь из десяти.)

3. Чиновник параллельного ведомства, с которым необходимо жить в мире. (Пять из десяти.)

4. Незвестный автор, чудом создавший произведение — одновременно — талантливое и конъюнктурное. (Четыре из десяти.)

5. Незвестный автор, создавший бездарное конъюнктурное произведение. (Рабочий класс, современная пионерская тема. Три из десяти.)

6. Просто талантливый автор. (Шансы близки к нулю. Случай почти уникальный. Чреват обкомовскими санкциями.)

7. Бездарный автор, к тому же далекий от конъюнктуры. (Этот вариант я не рассматриваю. Шансы здесь измеряются бесконечно малыми преднулевыми величинами.)

Наконец-то я понял, что удерживает Сахарнова в "Костре". Что удерживает Воскобойникова. Казалось бы, зачем им это нужно. Лишние хлопоты, переживания. Административные заботы. Из-за каких-то двухсот рублей. Пиши себе книги...

Не так все просто.

Журнал — это своего рода капитал, валюта. Мы печатаем Козлова из "Авроры". Козлов печатает нас. Или хвалит в Обкоме. Или не ругает. Мы даем заработать Трофимкину ("Искорка"). Трофимкин, в свою очередь...

Вызывает меня Сахарнов:

— Вы такую-то рукопись читали?

— Читал.

— Ну и как?

— Жуткая дрянь.

— Знаете, кто автор? Рамзес.

— Какой еще Рамзес? Не пугайте меня!

— Есть в правлении такой Рамзес. Ведает зарубежными поездками. Так что, будем печатать...

Да и я стал на авторов как-то иначе поглядывать. Приезжал к нам один из Мурманска, Яковлев. Привез рассказ. Так себе, ничего особенного. На тему — "собака друг человека". Я молчал, молчал, а потом говорю:

— Интересно, в Мурманске вяленая рыба есть?

Автор засуетился, портфель расстегнул. Достает вяленого леща. Напечатали... Собака — друг человека. Какие тут могут быть возражения?..

Опубликовал Нину Катерли. Принесла мне кусок органического стекла. Тренер Ваня Сабилло устроил мою дочку в плавательный бассейн. В общем, дело пошло. Незвестно, чем бы все это кончилось. Так, не дай бог, в люди выбиться можно...

Тут, к счастью, Галина Алексеевна позвонила, истекал ее декретный отпуск. Прощай гибнущий журнал с инквизиторским названием!

Круг замкнулся.

И выбрался я на свет божий. И пришел к тому, с чего начал. Долги, перо, бумага, свет в окне!

Круг замкнулся.

Двадцать четвертое апреля семьдесят шестого года. Раннее утро. Спят волнистые попугайчики Федя и Клава. С вечера их клетку накрыли тяжелым платком. Вот они и думают, что продолжается ночь. Хорошо им живется в неволе...

Вот и закончена книга, плохая, хорошая... Дерево не может быть плохим или хорошим. Расти, моя корявая сосенка! Да, не бывать тебе корабельною мачтой! Словом, а не делом отвечаю я тем, кто замучил меня. Словом, а не делом!

Я даже хочу принести благодарность этим таинственным силам. Ведь мне оказана большая честь — пострадать за свою единственную любовь!

А кончу я последней записью из "Соло на ундервуде":

**Самое большое несчастье моей жизни — гибель Анны Карениной!**

24.4.76. Ленинград

Анна ГОРБУНОВА

## ПЛЫВИ, МОЯ ЛОДКА...

### ХОР МАЛЬЧИКОВ

Учиться петь.

Издалеку  
вести свой голос неумелый  
туда, где нотная строка  
замрет у чуткого предела.  
Преодолевшему испуг  
диктует новые уроки  
изящных дирижерских рук  
язык тревожный и жестокий.  
Еще приятна и легка  
во дни учебных представлений  
привычка видеть свысока  
усталых взрослых умиленье,  
всерьез приняв веселый марш  
и неосознанно взрослея  
в тот миг, когда чужая фальшь  
ошибкой кажется своею.  
Им, в рамках строгого добра  
нашедшим точную тональность,  
предвиденье — еще игра,



предчувствие — уже реальность.  
И светом входит пониманье,  
что нужно петь, как будто все  
зависит от твоих стараний.

\* \* \*

Боль.

Вот пройдет еще одна минута,  
за ней еще одна  
надвинется

звенящим черным зноем.  
Огромным похоронным барабаном  
звучит сегодня ночью

мое тело.

'Но знаю:

еще много тысяч раз  
по капле кровь

из сердца упадет.

Я с каждой каплей

чище и светлей,

как будто бы рассвет уже подходит  
и ближе в тишине твое лицо.

И только б нервы

сумасшедшей пляски

под кожей не затеяли!

Как больно

с налету в темноте сломать крыло  
и рухнуть вниз

всей тяжестью бескрылья.

Но время движется.

И каждую минуту

отсчитывают гулкие удары.

И красный ветер

бьется в тонких венах,

чтоб никогда не ведать темноты.

\* \* \*

И тихий берег раскачают волны.  
И маленькую лодку захлестнет  
рассерженной волной лоскут огромный,  
и заскрипят, волну толкая, весла.  
И девочка на берег побежит,  
и побежит лохматая собака,  
и женщина с мужчиной крикнут вслед,  
чтоб тотчас возвращались непременно,  
что в шторм опасно быть на берегу,  
и, плащ накинув, побегут за ними.  
Тем временем два строгих рыбака,  
ругаясь, лодку вытянут на берег  
и цепью зазвенят.

И все затихнет.

И девочка заплачет под дождем.

\* \* \*

Во сне захлебнуться бессмысленным плачем.  
Окно на себя в полусвете рвануть.  
Плыви, моя лодка! Нам нынче назначен  
бессонный, и вербный, и пасмурный путь.

Виной обожжет ощущение риска,  
смятенье любви и предвиденье бед.  
Так плачет дитя у груди материнской,  
сон темного детства ломая в себе.

Нелепой, неловкой, невнятной собою  
я долгие годы пребуду в миру,  
покуда сольюсь с этой рощей рябою,  
с рисунком ветвей на весеннем ветру.

Глоток молока. Вкус пшеничного хлеба.  
Будильника стук. Растворение лет.  
И вновь одиночества гулкое небо  
приникнет дождем к ненасытной земле.

М. ЛИВАНОВ

## РОССИЯ, ГДЕ ТВОИ МЫСЛИТЕЛИ?

### ПАМЯТИ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА

И в этот век веселый дар пророка  
Сильнее страха, власти и свинца.  
В тугих словах — отвага и тревога  
И неизбежность крестного конца.

И в этот век ему не повезло:  
И все наглей хозяин новой тверди,  
И призрачно трамвайное тепло,  
И время для измены истекло,  
И только шаг — от шепота до смерти.

\* \* \*

Россия! Где твои мыслители,  
Россия! Кто твои писатели?! —  
Все меньше единиц в числителе,  
Все больше знаков в знаменателе.

Вольтером Чичикова сделали,  
И Чичиков кропает повести,  
И гонит тройку ошалелую  
К последней безысходной пропасти.

\* \* \*

О идиллическое время  
Дуэлей, ссылок и царей,  
Интриг дворцовых и затей  
Необязательное бремя...

В тот день брегета ранний звон,  
Над Черной речкой снег летучий...  
Здесь не СУДЬБА, а только СЛУЧАЙ,  
Где шансы равны у сторон...

Скрипучий поворот руля —  
Иные судьбы у поэтов:  
Нет ни вопросов, ни ответов, —  
Расстрелы, пытки, лагеря.

Самоубийцам повезло:  
Печальна, но легка кончина —  
Известны место, год, число  
И час — и иногда — причина.

Скрипучий поворот руля —  
И шансов нет у Мандельштама;  
Ни памятника, ни креста,  
Ни холмика, ни просто ямы.

О Пушкин! В самом страшном сне  
Такое не могло присниться:  
Горят на гибельном огне  
Неповторимые страницы.

И только горький крик вдовы,  
В журналах — "литнаследства" крохи...  
Вот два поэта. Две судьбы.  
Два палача. И две эпохи.

1972

\* \* \*

Трудись, трудись, душа моя,  
Разбег был долог и неловок,  
Спешу теперь без остановок  
Постигнуть связи бытия.

Трудись, трудись, душа моя,  
И будь печальнее и строже,  
Соединив земное с Божьим,  
Пытайся обрести себя.

Трудись, душа моя, трудись,  
Не жди покоя и награды,  
Смешай победы и утраты  
И людям низко поклонись.

\* \* \*

А жизнь моя не кончилась ничуть —  
Любовь стучит в открытые ворота,  
Быть может, шаг всего до поворота  
Где розами усеял крестный путь.

А мне еще сыграть бы на трубе  
У красных грозных стен Иерихона...  
Да только жаль, что лагерная зона  
Давно, наверно, плачет обо мне.

\* \* \*

Пора, пора, проклянись Слава,  
Пробейся, продерись, приди,  
Как взламывают камень травы,  
Чтоб нежно к солнцу прорасти.

Трава сильней, чем мертвый камень,  
И слово слаще немоты...  
И кто-то добрыми руками  
Мне бросит поздние цветы.

\* \* \*

...С годами я ценю все больше Слово,  
Любовь и милосердие к врагам.  
Быть может, слаб. Но может быть, я снова  
Учусь ходить по Пращура стопам.

И если дал обет, —  
Призванья будь достоин:  
Сегодня вновь поэт  
И праведник, и воин.

Такой должна быть речь  
По сути, и по стати.  
Чтобы на сердце лечь  
Евангельской печатью.

\* \* \*

Я из песчинок строю дом.  
Кто жить захочет в доме том,  
Иль станут как из камня стены  
Иль быстро все пойдет на слом?!

\* \* \*

То падаю, то вверх лечу —  
Цены словам не угадаю,  
И каждый раз опять не знаю,  
О чем пишу и как пишу.

Как бусы нижутся слова —  
Правдивые или пустые? —  
А в помыслах моих Россия,  
Россия и любовь твоя.

## В защиту теории самовыражения...

У каждого свой путь,  
                   и грех, и крест, и Бог,  
 У каждого своя  
                   и боль, и страсть, и совесть,  
 И о себе самом  
                   всю жизнь ты пишешь повесть —  
 Все остальное —  
                   ложь или подлог.

\* \* \*

Мои стихи — как ночью — огонек;  
 Всего четыре или восемь строчек,  
 Полсотни слов да полдесятка точек,  
 И темы старые: Любовь, Россия, Бог.

Здесь все мои надежды и тревоги,  
 Твоя любовь и Родины беда...  
 Не знаю только, что в стихах от Бога,  
 Что — от тебя!

\* \* \*

Есть в безызвестности земной  
 Не только самоотречение,  
 Не только гордое смирение  
 Пред Словом и перед Судьбой:

Стихи мои — как тайные моления,  
 И Богу слышен тихий шепот мой.

И в небе бездна звезд, и в воздухе — озона;  
 Снега зимою — словно облака.  
 И Словом сопрягаются века  
 Верней, чем золотом бесстрашного Язона.

## "И он мне грудь рассек мечом..."

А. Пушкин

И Он мой дух преобразил  
 И выковал тугое пламя,  
 Исполнив робости и сил  
 Поднять поверженное знамя.

Высок и весел Божий бред —  
 Ни суеты, ни суесловья —  
 И остается алый след  
 От слов, отравленных любовью.

Кто властно управляет нами?  
 За что такая страсть и честь:  
 Передавать Благою весть  
 Необходимыми словами.

Хоть снова времена суровы,  
 Но крепок замысел Творца:  
 Не хватит тюрем и свинца.  
 Чтоб уничтожить Слово!

\* \* \*

Слепым и нищим  
                   сотни верст пройдешь,  
 Как блудный сын,  
                   сто раз вернешься снова,  
 Пока услышишь,  
                   вымолвишь,  
                   поймешь  
 Подсказанное  
                   Богом  
                                   Слово!



Вообразим таблицу, указывающую, сколько раз в настоящем очерке встречаются следующие слова: еврей, антисемитизм, тоталитаризм, вражда, Держава (с большой буквы), история (с маленькой буквы), специалисты, свобода, агрессия, любовь. Всего десять слов, не считая синонимов.

Помогу читательскому воображению следующей справкой: в этом перечне слова расставлены в порядке убывающего количества повторений: от еврея, который встретится вам 480 раз, до любви, повторенной всего четыре раза. Тот факт, что любовь упоминается столь редко, определенно говорит не в пользу автора.

Читателю достаточно бросить взгляд на вышеприведенный перечень слов, чтобы решить, стоит ли ему тратить время на лежащее перед ним сочинение. Если ему скучно встречаться со слишком часто повторяемыми словами еврей и антисемитизм, он, недолго думая, оставит мои записки.

Если же он решит читать дальше, то согласится, надеюсь, с автором, что новые черты окружающего нас антисемитизма дают известное основание к этому термину — приставку "нео". Я пользуюсь ею осторожно и буду говорить о неоантисемитизме лишь в конце книги — после того, как обрисую новые стороны этого старого социального явления.

1977, март. Москва.

И. ДОМАЛЬСКИЙ

## ТЕХНОЛОГИЯ НЕНАВИСТИ

Социальный очерк

"Чем более жестока вина, совершенная людьми против какой-нибудь личности или какого-нибудь народа, тем глубже их ненависть и пренебрежение к их жертве. Спесь и тщеславие... мешают возникновению угрызений совести".

Альберт Эйнштейн

"Научные, моральные и общественные концепции".

"Дрожат до того, что скрывают свой страх под маской спокойствия, любезного угнетателю и удобного для угнетенного".

Маркиз де Кюстин, "Россия в 1849 году".

Кто много жил и на себе испытал все, что умеет причинить человеку государственно организованная ненависть, тот сомневается в способности правды и добра самим пробивать себе дорогу. Правду и добро приходится сеять и возделывать, стараясь, чтобы их не заглушили сорные травы лжи.

Цепкость и плодовитость сорняков необычайны: одно растение лебеды дает сто тысяч семян, а одно растение хлебных злаков — только две тысячи.

Больше всего лжи содержится в области знаний человека о своем обществе. Ложь, касающаяся общества, сеют те, кто добивается власти, и те, кто добыв ее, боится потерять. И наравне с ложью, и вперемежку с ней, они сеют и тщательно возвращают нетерпимость к каждому, кто по их представлению стоит на их пути к расширению своей власти.

Дважды за последние полвека люди имели возможность убедиться, к каким трагическим последствиям приводит государственно управляемая служба нетерпимости, на знамени которой написано: "Кто не с нами, тот против нас, но и того, кто просто не похож на нас, мы тоже не считаем с нами".

И чем больше места занимает в обществе нетерпимость, тем теснее в нем личности. В межнациональных отношениях это, пожалуй, лучше всего прослеживается на примере положения евреев. Тот, кто их не выносит, не отличает еврея, открывшего законы Вселенной, от еврея, спрятавшего под прилавок дефицитный товар. Для него у всех у них карикатурное лицо, которое заученно рисует прославляемый художник Борис Ефимов: пузатый тонконогий коротышка со звездой Давида на шлеме.

Антисемитизм в наши дни лишен мотивировок, которые можно было бы публично высказать. Нелогично, казалось бы, подводить под свое отношение к советским евреям то обстоятельство, что Израиль не уходит с холма, где стоит Стена плача. Стена плача — все-таки в Иерусалиме, а московские и киевские евреи — не представители Израиля. А может, их рассматривают как заложников, которые должны отвечать за то, что израильские евреи не отдают арабам гору Сион?

Разумеется, советское государство не декларирует, что его "граждане еврейской национальности" — заложники. Но в глазах людей, ослепленных смутной и требующей выхода злобой, каждый встреченный на улице еврей олицетворяет собой Израиль.

Весьма распространенное выражение: "Не нравится, уезжайте в свой Израиль!" показывает, что говорящий эту фразу считает вас заложником. Тот факт, который мы все принимаем как должное, но который в глазах непредвзятого человека выглядит как последняя степень самоунижения — я имею в виду письма евреев в редакции газет с ругательствами по адресу сионизма — этот факт убедительно говорит: подписывающиеся их сами признают себя заложниками, но только открещиваются от своих соплеменников.

Не существует сведений о том, какая часть советских евреев готова с радостью отречься от своей национальной принадлежности, если бы им это позволили. Может, их девяносто процентов, а может, всего только тридцать.

Их численность не установлена, зато их поведение поддается точному описанию. Услышав слово еврей, они вжимают голову в плечи, словно ожидая удара. И сами стараются упот-

ребить это сакраментальное слово возможно реже, а когда вынуждены произнести, то выговаривают его скороговоркой и сдавленным голосом, словно их держат за глотку. Им стыдно — но не своего жалкого поведения, а своего еврейства.

В среде этих людей есть такие, которые одержимы извечным страхом, въевшимся в их подсознание и уже неизлечимым. Другие с ликующей злостью подсчитывают все беды и недостатки Израиля. К последним принадлежат большей частью хорошо устроившиеся, благополучные, самодовольные люди, убежденные в том, что именно Израиль портит им жизнь и карьеру. Трудно поверить, но один из моих друзей своими ушами слышал, как такой благополучный еврей заявил в кругу знакомых: "Война 1967 года? Война 1973 года? И вы верите, что это израильяне воевали? Завербовали наемников, те и побеждали!"

Какая бы часть советских евреев ни была охвачена страхом и озлоблением — их чувства — производные от чужих массовых чувств.

Но так же, как нельзя сосчитать советских евреев, настроенных против Израиля, так нельзя сосчитать русских, украинцев, белорусов и т.д., настроенных против еврейства. Те, которые не питают вражды к евреям и даже сочувствуют им, те молчат. Они не высказываются ни на опросах общественного мнения — их, кстати, у нас никогда и не бывает, — ни на собраниях. Только в узком кругу друзей знают их мнения.

Зато другие высказываются — и на улице, и в очередях, где собирается в масштабе страны куда больше народу, чем на всех собраниях вместе взятых, и в автобусе, и на работе, и где угодно. Их слышно. И замечания их многозначительны.

Сколько же таких, кто молчит, и таких, кто бросает замечания? И кто из них выражает мнение большинства, если никому не известны количественные соотношения? И кого из них двоих — молчащего или говорящего — должен я принимать всерьез, когда думаю о завтрашнем дне?

Ненавистники и рта бы не раскрыли, если б не были уверены в том, что за их спиной стоит могучая сила пропаганды. Она им, правда, ничего прямо не поручала. Она говорила одно, а подразумевала другое. Читать между строк — тонкое

искусство, в котором советские люди поднаторели и намного превзошли западных. Мы не раз слышали: "Советский народ — самый читающий в мире". Но будет еще вернее, если мы прибавим два слова: "Советский народ — лучше всех читающий между строк в мире".

Пропаганда в СССР многослойна и вливается в сознание масс по нескольким каналам. Верхний канал — открытый: общедоступная газетная, журнальная, книжная и радиотелевизионная информация.

Но для жизни советского общества имеют, однако, не меньшее, а может, и большее значение, те мнения и указания, которые передаются по каналам второго слоя пропаганды: по каналам пропагандистского аппарата. Это аппарат уникальный, ибо не поддается никакому контролю, а лишь послушен своему собственному верховному командованию.

Каналы, по которым передается эта информация, правильнее назвать трубами: крупногабаритные, закрытые, глухие трубы. В них постоянно поддерживается высокое давление, но при нужде его поднимают выше и еще выше — сколько понадобится, трубы выдержат.

На многочасовых семинарах опытные лекторы читают пропагандистам насыщенные фактами и цифрами лекции, но, повторяю, — эта закрытая информация проверке не поддается. На одном семинаре, весьма многолюдном и серьезном, лектор сообщил пропагандистам, а те, конечно, добросовестно записали в свои блокноты, что шестьдесят тысяч бывших советских евреев из числа уехавших в Израиль подали заявления с просьбой разрешить им вернуться. Встревоженное их бегством израильское правительство обвиняет СССР в том, что он, привлекая к себе обратно уехавших было евреев-специалистов, тем самым разрушает израильскую экономику.

Между тем, в печати уже несколько раз повторялась цифра — шестьсот евреев, бывших советских граждан, просят о возвращении. Шестьсот, а не шестьдесят тысяч. Между обеими цифрами всей разницы — два нуля.

Представим себе последующее движение этой сногшибательной новости. Придет лектор на завод или в цех, станет рассказывать об Израиле и сообщит: шестьдесят тысяч быв-

ших советских граждан еврейского происхождения просятся к нам назад из сионистского рая.

Реакцию его слушателей можно себе представить: "Вот сволочи! Сколько хлопот с ними! То выпускай, то назад принимай — а может, они со шпионской целью просятся? Нет уж, пусть там подышают от безработицы, голода, преступности и проституции! Поделом вору и мука!"

Все налажено: в центре бросят одно слово — и оно расходится, расходится кругами, и через неделю его уже знает вся страна.

Старый антисемитизм обсуждался в печати. Новейший не обсуждается, его существование попросту отрицается. И он, официально отрицаемый и формально не существующий, уходит в сферу слухов, не поддающихся контролю. В итоге он вроде бы и есть, но его как бы нет. Он везде и вроде бы нигде. Он ускользает от нас — но он и обволакивает нас.

Итак, в отличие от информации, бьющей под высоким давлением из закрытых труб, слухи, эта третья информационная система, растекаются и сочатся по глубоким перепутанным подземным ходам и потаенным ручейкам. Их извилистое течение не зависит от тех, кто первым запустил их в людскую гущу.

Не следует думать, что течение слухов совсем уж не подвластно законам общественной жизни. Есть, по меньшей мере, один закон, которому они подчиняются — закон страха.

Страх — могучая психологическая сила. Как предупредительный сигнал опасности, он нужен живому существу. Но нагнетание страха и его способность поддерживать самого себя расстраивает всю предупредительную систему, и тогда наша, непрестанно возбуждаемая психика начинает работать на разнос.

Страх возбуждает озлобление масс против кого-то, пока не найденного, не известного и, вероятно, даже не существующего, и парализует их желание понять источник страхов.

Стадная страсть антисемитизма всегда готова подхватить вздорную легенду, возникшую из слухов, и она еще больше распаляет чувство вражды.



Так как официальная печать не снисходит до того, чтобы заниматься слухами и опровергать их, а другой, неофициальной печати нет, то получается: те две сферы информации, в которых царит строгий централизм, и фактически поощряют третью, нерегулируемую сферу хаотической и неуловимой информации.

Которая из них более лжива — трудно понять. Но если в официальной системе проповедь ненависти по понятным причинам ведется косвенно, то во второй она значительно облегчена, а в третьей, в хаосе слухов, ничто не мешает ей разрастаться до беспредельности.

Много ли у нас надо? Достаточно забросить камешек, и круги сразу разбегутся.

## ПСИХОЛОГИЯ НЕПРИЯТИЯ

Испокон веков сильнее всех ненавидела евреев мещанская чернь. Речь идет не о сословной группе, а о социальном слое, о массовом общественно-психологическом типе, который хорошо определен в принятом в западных языках слове "филистер".

У мещанина есть его сверхрелигия: уравнительное исповедание, требующее всеобщего духовного равенства. Ему неприятен каждый человек, ход мыслей которого отличается от привычного ему хода. Для современного мещанина демократичность выражается не в том, что любое меньшинство имеет право на свое мнение, а, наоборот, в том, что не должно быть мнений меньшинства. Ему не интересно содержание этих мнений — он вообще отрицает право меньшинства быть.

По его представлению, нельзя думать иначе, чем думают все. "Что же, выходит, все дураки, а ты один умный?" — таково мировоззренческое правило мещанина.

Посредственность не терпит непонятного. Существуют два варианта отношения к непонятному: один — желание вникнуть, освоить, приблизить к себе непонятное; другой — желание оттолкнуть от себя непонятное, объявив его плохим и недостойным внимания. В тех случаях, когда от непонятного не удастся отвернуться, оно легко становится ненавистным.

Евреи в самом деле прошли историю, не всем понятную: в старину они резко отличались своими необъяснимыми обычаями, а потом стали отличаться своей настойчивостью в ассимиляции, своей способностью к мимикрии и своей однообразной склонностью к занятиям, никогда доньше не бывшим занятиями большинства окружающего населения.

В своей неприязни мещанин требует от евреев, чтобы они сделали себя более понятными ему. Но как бы ни старались они выполнить это требование, оно в принципе невыполнимо, о чем как нельзя более убедительно говорит трагический опыт немецких евреев.

К началу нацистского господства они сделали себя большими немцами, чем сами немцы, — так успешно сумели приспособиться.

Немецкие евреи успешнее, чем евреи других стран, завоевывали позиции в просвещении и культуре. Как ни парадоксально, антисемитизм в Германии шел, ускоряясь, нога в ногу с культурной ассимиляцией евреев. Немецкие бюргеры, подобно русским и польским лавочникам, терпеть не могли своего еврейского конкурента. Но они возненавидели его вдвойне, когда его сын стал врачом, а его дочь окончила университет и превратилась в образованную даму.

Мещанское самодовольство не мирится с еврейской образованностью, не выносит ее и возмущается ею. "Как, еврей говорит на моем собственном языке лучше меня? Сволочь! Еврейская свинья!"

Рост численности специалистов в СССР, как и на Западе, изменяет некоторые внешние черты мещанина. Он теперь имеет образование, даже научную степень, он обладает информацией в разных областях.

Советскому государству нужны специалисты с высшим образованием, и оно их успешно готовит. Только специалисты, которых оно готовит, должны обладать одним всеобщим, для всех обязательным качеством: марксистско-ленинской фразеологией, имитирующей убежденность. Если бы на самом деле удалось достичь всеобщей одинаковой убежденности, то это означало бы лишь одно: все образованные будут думать одинаково.

Пусть все остальные черты индивидуальности — увлечения, способности, склонности — будут разными, как разными бывают хобби у людей, но главное должно быть одинаковым: их мысли, систематизированные в убеждения. Если нельзя достичь обезличения мысли, то обезличения слов достичь можно: пусть все говорят одинаково. В один голос восторгаться, в один голос порицать. Не единомыслие, так хоть единогласие.

Пока мещанство было малообразованным и часто совсем безграмотным, не могло быть речи о каком-то его собственном идеологическом самоопределении. Отличаясь, подобно всякой социальной группе, своим особым мировосприятием, оно еще не доросло до осознания самого себя.

Самоопределиться понадобилось, когда появилось образованное мещанство. В концепциях тоталитаризма, в его понимании человеческих отношений и социальных ценностей мещанство, получившее образование, нашло общее выражение своих отношений с личностью и с обществом. В антисемитизме же оно нашло частную и очень подходящую в данных условиях формулировку своих мнений и чувств по отношению к людям чужой этнической группы.

Новейший антисемитизм нов тем, что его идеи приспособлены к уровню интеллигентного мещанина.

Новые идеи антисемитизма варьируют старые и направлены к тому, чтобы возвысить в собственных глазах каждого и притом простейшим способом: сравнивая себя с евреями. Чувство собственного превосходства несравненно легче воспитать, чем чувство собственного достоинства. Подлинная интеллигентность не меряет свой ум и нравственность мерой чужой глупости и безнравственности. Она имеет другие, из себя самой выведенные критерии.

Стереотип еврея сложился из реальных черт, но рассмотренных как бы сквозь бифокальные очки: всего человека вы видите через одну часть стекла, а его недостатки — через другую.

Большинство обычных качеств, если они проявляются слишком сильно, превращаются в недостатки. Например, склонность к мимикрии. Если это качество в той мере, в какой оно выражено у евреев, противно мне, еврею, то как же

оно должно быть неприятно постороннему? Но таких ярко выраженных качеств в национальном характере любого народа не столь уж много. В большинстве своем национальные недостатки достаточно неопределенны и по-разному читаются через разные очки. Там, где я прочту настойчивость, другой прочтет нахальство, а где я прочту фанатизм, другой прочтет принципиальность.

Не из соображений вежливости, а из чувства справедливости я считаю, что правильнее всего поменьше говорить о недостатках чужого народа и побольше о его достоинствах. В результате ваша оценка получится более верной, чем если бы вы захотели соблюдать равновесие, толкуя и о плюсах, и о минусах чужого национального характера.

Антисемитизм всегда упивался разработкой темы о национальных недостатках евреев. Новейший антисемитизм отличается тем, что нашел новые, более отвечающие нашему времени признаки еврейской неполноценности (и отсюда — собственного превосходства). Но и о них он не твердит громко, а потихоньку вводит их, не уточняя их названий, в хитроумную игру "доверия" и "недоверия", важнейшую советскую социальную игру.

Так как игра основана на противопоставлении достойных доверия недостойным его, то недостойный должен быть найден обязательно, иначе какое противопоставление?

Вообще-то мы знаем, что все советские люди равно достойны. Мы все равны, только одни, пользуясь бессмертным афоризмом Орвелла, более равны, чем другие.

У нас все нации равны, только евреи менее равны, чем другие. Этот тезис закладывается в то мировоззрение, в котором воспитывают нашу интеллигенцию. При этом, если я стал безучастно проходить мимо явления, против которого моя совесть еще недавно протестовала, то это значит, что она разрушается. Развал совести вносит перемену в мировоззрение, которое состоит не из одних умственных, а и нравственных элементов. Явление, которое человек раньше осуждал, а теперь принял, заставляет его ум искать оправдания для его приспособившейся совести.

В средней школе все учащиеся действительно равны. Даже если какой-нибудь школьник, наслышанный от своих родителей, и скажет еврейскому мальчику: "Ты, жид!", это не нарушает школьного равенства. Разве что еврейский мальчик бросится в драку — но возможность дать в морду обидчику и есть один из признаков равенства.

В колхозе и на заводе просто мало евреев, и потому о них мало помнят, они не тревожат никого. А в вузе, в этой своеобразной передней своего будущего учреждения, студент вплотную узнает, в чем состоит скрытое значение равенства: в том, что имеются точно (но секретно) указанные отрасли, точно поименованные высшие учебные заведения, точно отграниченные профессии, предприятия и учреждения, куда евреям войти недоступно.

Такое сочетание теоретического национального равенства с совершенно бесспорным фактическим неравенством существует, главным образом, в группе, официально именуемой интеллигенцией, и поскольку эта "народная интеллигенция" вполне мирится с ним и никогда ничем не покажет своего с ним несогласия, то она все заметнее становится той человеческой почвой, на которой сеют антисемитизм.

Новый антисемитизм требует от советского интеллигента немногого. Вдобавок это немногое отнюдь не носит характера личной жертвы. Нет, ничем не придется жертвовать, надо только сделать вид, что не замечаешь разницы в положении различных национальных групп. Надо принять правила игры и играть с улыбкой на губах, поддерживая хорошее настроение своей команды.

Не обязательно искренне разделять убеждение, что евреям опасно допускать в отрасли науки, каким-то боком соприкасающиеся с военной промышленностью (а много ли наук нейтральных?) . Не выведывают же от советского человека с помощью детектора лжи или другим способом, искренен ли он в своей марксистско-ленинской убежденности! Лишь бы кое-как сдал экзамен по теории. Лишь бы на людях говорил, что полагается, да поступал так, словно он убежденный последователь марксизма-ленинизма.

Чужая душа — потемки. О человеке судят по его делам. Вот, например, он преподает историю в средней школе. Дома он, может быть, иронизирует над официальными теориями о происхождении русского государства, о героическом и безупречном княжении Александра Невского и Ивана Калиты. Но, придя в класс, он излагает школьникам официальные теории. За время своего учительства он искалечил умы тысяч детей — какое же имеет значение, верит ли он сам той истории, которую преподает детям, заставляя их верить ей? Пропаганда не ошибается, величая его идейным. Он идейный двоемысл.

В царское время, в годы проклятой процентной нормы, экзаменаторов не заставляли двоедушничать. Они выставляли отметки, как находили правильным. Не знаешь предмета — двойка, знаешь — пятерка. А уж потом университетское начальство объявляло: ввиду того, что для евреев предоставлено восемь мест, а выдержали экзамены двадцать абитуриентов, будут приняты следующие, наилучше сдавшие: Эпштейн, Штейнберг, Бергман и т.д.

Это было грустно, но безобманно, учителей и профессоров не заставляли марать руки и совесть в антисемитской процентной норме. Да, но сейчас же никакой процентной нормы нет! Можно ли сравнивать наши вузы с царскими?

Из таблицы "Распределение обучающихся в высших и специальных средних учебных заведениях по специальностям", помещенной в статистическом ежегоднике "Народное хозяйство СССР" за 1967, 1969 и 1972 годы, я извлек несколько цифр, которые предлагаю к рассмотрению в следующей сводной табличке:

Студенты высших учебных заведений (в тысячах) :

	1962/63 уч. г.	1967/68 уч. г.	1969/70 уч.г.	1972/73 уч.г.
Всего по СССР	2943,7	4310,9	4549,9	4630,2
В т.числе русск.	1803,8	2599,5	2716,3	2774,4
В т.числе евреи	79,3	110,1	110,1	88,5

При общем неуклонном росте численности студентов в СССР с евреями-студентами случилось удивительное происшествие: за пятилетие 1962-67 их численность возросла на трид-

цать девять процентов, при общем росте сорок два процента, а за трехлетие 1969-1972 вдруг резко упала: падение на двадцать процентов, в то время как общая численность студентов равномерно увеличивается из года в год. Не странно ли? Не говорят ли эти цифры самым убедительным образом о том, что экзаменаторам было дано негласное указание, и они его выполнили честно, лояльно и с большой ответственностью перед высшей инстанцией?

За несколько лет систему отработали. Конечно, не полагаются, чтобы экзаменаторам прямо давали список: помеченных птичкой пропустите, а помеченных крестиком — зарежьте. К тому же есть еще письменные экзамены, в которых для пущего беспристрастия положено, чтобы фамилия экзаменуемого заменялась номером. Номер проставляет приемная комиссия, которая формально одна лишь вправе знать, кто есть кто, т.е. кем является абитуриент: из рабочей ли он семьи или нет, "позвоночник" ли он ("позвоночником" студенты называют поступающего по звонку из важного учреждения или от высшего начальства), не евреи ли его отец или мать и т.д.

Что же делается, чтобы экзаменаторы все-таки не блуждали в потемках? Есть способы. Например, номера ставятся как положено, никто не придерется. Только пишут их разными, заранее условленными чернилами: красные, скажем, означают, что данный номер надо обязательно принять. Синие — что ни в коем случае нельзя принимать, а требуется непременно зарезать. Зеленые же чернила означают: вот абитуриент, которого можно экзаменовать честно. Кусочек совести экзаменаторам, как-никак, оставляют.

Теперь мы понимаем механику той деятельности, результаты которой отражены в приведенной табличке. Значение красноречивых цифр из ежегодников 1967-1972 г.г. подчеркивается тем, что после 1972 года таблица "Распределение обучающихся в вузах по национальности" вдруг исчезла с их страниц. Эффект исчезновения таблицы, пожалуй, не менее значителен, чем эффект ее наличия.

Студент, готовясь занять предназначенное ему место на службе государству, не читает статистических сборников и

не сравнивает цифр. Но он видит жизнь и хорошо догадывается, что к чему. Он не слепой. Он понимает, что евреям нет доверия, они считаются недостойными. А он — достоин. В этом его преимущество.

Прежние стереотипы отжили. Кто-то, может быть, их еще помнит, но не они решают. Важно иметь качества, располагающие к тому, чтобы государство могло вам доверять.

В чем они конкретно состоят, не скажет, вероятно, никто. Но раз государство не доверяет, значит дело серьезное. О чем бы ни догадывался будущий или настоящий специалист, все равно. Лишь бы он вел себя правильно.

За знакомой мне студенткой ухаживал ее однокурсник. Она была еврейкой из интеллигентной семьи, он — русский из интеллигентной семьи. Ее хорошо принимали родители юноши, проявляя к ней доброжелательность и внимание. Они, конечно, видели, что их сын влюблен. Но когда он сообщил им о своем намерении жениться на любимой девушке, они объявили: "Никаких! Ты что, хочешь вконец испортить жизнь себе и своему дяде? Вспомни, какую работу он ведет и в каком учреждении служит! А ты-то сам? Перед тобой открыты все двери. Твоя наука - самая перспективная. Кончай институт — расти и расти. А женишься — все пропало. Она хорошая девушка — но, извини, она же еврейка!"

И юноша уступил трезвым доводам родителей. Он не был Ромео.

Я знаю, конечно, и случаи противоположного характера. Но они — вчерашние или позавчерашние. А сегодня торжествует трезвый расчет.

Таковы наши нравы. Такова человеческая почва, в которую сеют антисемитизм новейшего образца.

## НАШЕ РАВЕНСТВО

Воспитаннику тоталитарного государства трудно отделаться от тоталитарного способа мыслить о себе и своем обществе. Вероятно, главная трудность в том, что почти каждый термин, употребляемый для характеристики общественной жизни

ни, в тоталитарном обществе переиначен и понимается не так, как его всегда понимали люди.

Скажем, термин равенство. Долго ли его перетолковать, если дружно взятыся?

Характерную формулировку равенства, как оно рисуется тоталитарному мышлению, мы находим в книге В. Мишина "Общественный прогресс".

В ней произведена подтасовка понятий, имеющая специфическую направленность.

В своей книге В. Мишин ссылается, как оно водится у нас, на высшие авторитеты: сперва на Маркса, потом на Ленина и лишь затем делает свои выводы.

Приведу их полностью, уж очень они многозначительны.

"Следовательно, речь идет не о нивелировке людей разных народов, а о создании равных и поэтому максимально благоприятных условий для их всестороннего развития, для полного проявления их дарований, индивидуальных способностей. Ключевая позиция в вопросе о развитии национальных отношений в период строительства коммунизма и соотношении двух известных тенденций их развития заключается в дальнейшем выравнивании уровня развития всех наций и народов СССР".\*

Провозгласив необходимость равных условий для развития, Мишин через восемь строк подменил их равным уровнем развития наций. А ведь выравнивать уровни как раз означает создавать новые неравные условия для дальнейшего развития личности: одни нации подтянуть, другие осадить. Иначе не выравнивать.

Этого и требует наш автор на следующей странице, подкрепляя свои доводы статистикой. Если ряд народов в развитии высшего образования и в подготовке научных кадров еще значительно отстает от среднего общественного уровня (украинцы, белорусы, молдаване, татары, узбеки, азербайджанцы и др.), то некоторые народы (армяне, грузины, евреи) ушли далеко вперед от этого среднего по стране уровня. Иначе говоря, таблица показывает, что у нас есть не только остатки старого неравенства народов, но и элементы нового неравенства, сложившегося в годы советской власти. Элементы

нового неравенства довольно заметными становятся уже к концу двадцатых годов: в 1929 году удельный вес студентов был выше, чем доля в населении СССР, у армян и грузин в два раза, а у евреев — в семь раз.

Откровенные рассуждения, подобные мишинским, в обычной пропагандистской литературе почти не встречаются — откровенность не входит в число добродетелей нашей пропаганды. Мишины пишут не для широких масс, а для деятелей идеологического фронта. Прочтет такой деятель и найдет еще одно, подкрепленное цитатами доказательство своей значительности. Для высоконравственных людей, руководящих открыванием и закрыванием дверей в храмах науки (например, для вузовских экзаменаторов), главное — это быть уверенным в том, что дело, которое они делают, — важное.

Недаром Мишин избрал ученых и студенчество в качестве материала для своей теории. Люди умственных профессий нужны ему не для иллюстрации своих мнений, а для того, чтобы они проводили эти мнения в жизнь. Если бы речь шла только о теоретическом равенстве, государство не тратило бы столько средств на воспитание кадров, согласных с проповедваемой нашим автором системой подготовки специалистов. Специалист, которого научат понимать равенство в тоталитарном духе равенства на середину, будет и сотрудников себе подбирать, и смену себе готовить, исходя из концепции выравнивания уровней.

Ниже будут рассмотрены статистические данные, показывающие, как теория равенства наций воплощается в практике их выравнивания.

К юбилею Академии наук СССР издательством "Статистика" выпущена брошюра в двадцать страниц под названием "Статистические материалы". Она увидела свет в апреле 1974 года с пометой "без объявл.", означающей, что в открытую продажу она не поступила. Тираж ее — всего тысяча восемьсот экземпляров.

В ней помещены данные о научных кадрах, публикуемые впервые после того, как с 1972 года их перестали помещать в общедоступных статистических сборниках.

\* Волго-Вятское изд-во, Горький, 1970.

Таблица № 1.

**ДИНАМИКА НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ СССР**

Национальность	Численность по годам (в нисходящем порядке по числен.1950г.)			В % к общему числу научных работников		
	1950,	1960	1973	1950	1960	1973
Годы						
Всего	162 508	354 158	1 108 268	100	100	100
1.Русские	98 948	229 547	739 522	60,9	64,8	66,7
2. Евреи	25 125	33 529	67 698	15,4	9,5	6,1
3. Украинцы	14 642	35 426	120 373	9	10	10,9
4. Грузины	4 263	8 306	21 270	2,6	2,3	1,9
5. Армяне	3 864	8 001	23 873	2,4	2,2	2,1
6. Белорусы	2 713	6 358	23 095	1,7	1,8	2,1
7. Азербайджанцы	1 932	4 972	15 609	1,2	1,4	1,4
8. Латыши	1468	2 662	6812	0,9	0,7	0,6
9. Татары	1 297	3 691	14 130	0,8	1,4	1,3
10. Эстонцы	1 235	2 048	5 354	0,8	0,7	0,5
11. Литовцы	1 213	2 959	9 794	0,8	0,8	0,9
12. Узбеки	845	3 748	14 330	0,5	1	1,3
13. Казахи	739	2 290	9 886	0,45	0,6	0,9
14. Чуваши	301	606	2 224	0,2	0,17	0,2
15. Осетины	300	592	1 890	0,2	0,16	0,1
16. Таджики	168	866	2 886	0,1	0,24	0,2
17. Мордва	155	351	1 360	0,1	0,1	0,12
18. Башкиры	146	391	1 709	0,09	0,11	0,15
19. Народн. Дагестана	139	454	2316	0,09	0,13	0,21
20. Туркмены	128	707	2 371	0,08	0,2	0,21
21. Молдаване	126	590	2 919	0,08	0,14	0,26
22. Буряты	107	357	1 350	0,07	0,1	0,12
23. Киргизы	94	586	2 373	0,06	0,14	0,21
24. Остальные	2 476	2 369	4 949	1,5	0,7	0,5

Последнюю строку ("остальные") я вычислил сам.

Динамику процесса в таблице, опубликованной в брошюре, не проследишь — тут даны цифры одного лишь 1973 года. Но, сопоставив их с данными, которые приводились в ежегоднике

"Народное хозяйство" в прошлом и освещали положение пятидесятых и шестидесятых годов, мы увидим, как шел процесс.

Первые три столбца предлагаемой таблицы переписаны из брошюры и сборника "Народное хозяйство" (юбилейный выпуск 1922-1972, стр. 105). В четвертом, пятом и шестом столбцах выведен удельный вес научных работников каждой национальности в составе всех научных работников СССР по годам: 1950, 1960, 1973.

Картина получилась впечатляющая. Удельный вес русских среди научных работников весьма велик и продолжает расти (от 60,9 в 1950 г. до 66,7 в 1973 г.). Он значительно выше удельного веса русских среди всего населения страны (53,4% по переписи 1970 г.). И темпы тоже опережающие: прирост научных работников русских за 13 лет (1960-73) составил почти 510 тысяч при общем приросте в 754, так что доля русских в приросте равна 67,7 процента. Русские не просто численно доминируют, но и опережают всю армию научных работников.

По отношению к евреям тенденция обратная. Она очень резко выражена: удельный вес евреев в среде научных работников упал с 15,4 процента в 1950 году до 6,1 процента в 1973 году. Падение в два с половиной раза за 23 года. Если же составить ряд других таблиц, то можно убедиться, что с научными работниками — грузинами, армянами, латышами, эстонцами происходит нечто похожее на то, что с евреями, но только в меньших темпах. Так что каждый, кого взволновали lamentации В. Мишина насчет "нового неравенства", возникшего в первые десятилетия Советской власти, может утешиться: идет выравнивание, отлично идет!

### КОНФОРМИЗМ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

В среде русских евреев жизненные перемены совершались с головокружительной и нередко полной кровавых событий быстротой, которая порождала неожиданные контрасты в общественной психологии и поведении евреев. Даже отдель-

ный человек, внутренне меняясь на протяжении своей жизни, меняется неравномерно: какая-то часть его "я" претерпевает коренную метаморфозу, в то время как другая часть остается менее измененной. Потому-то новое "я" так похоже на старое, в то же время резко отличаясь от него. Это тем более верно, когда речь идет о целом народе.

Пожалуй, главную роль в еврейских метаморфозах сыграло то обстоятельство, что еврейская молодежь, вступая в революционное движение, отрекалась — да по существу и не могла иначе! — от религии и старых канонов. Религиозные-то каноны она отбрасывала, но манеру исповедания своих убеждений и всю психологию религиозности, порожденную тысячелетиями приверженности к Богу, она не сумела смаху вырвать из себя: эта манера исповедания в течение веков вошла в кровь и плоть евреев. Обновился лишь объект веры.

Еврейская революционная молодежь была глубоко верующей — не в Бога, конечно, но в революцию. Нередко была она и фанатичной, и жестокой в своем фанатизме. Как среди евреев существует наследственная группа левитов, некогда несших священническую службу, так и в русской революционной среде евреи уже к началу XX века стали своего рода левитами от свободомыслия и атеизма.

До того, как ассимиляция стала массовой, окружающие воспринимали евреев просто как чужеродное тело: непонятные, непохожие, всей своей внутренней сутью противостоящие своему окружению и потому нелюбимые.

Но по мере того как евреи успешно усваивали русский язык и русскую культуру, одновременно меняя свои занятия, их стали воспринимать иначе: хотят быть похожими на них, русских, а остаются непохожими. Переменилась основа (большой частью подсознательная, конечно) отчужденности, и в массовом сознании возник новый стереотип "этих евреев" — стереотип, в котором весьма заметную черту составлял еврейский конформизм в худшем его проявлении.

В самом процессе ассимиляции есть особенности, характерные для евреев: упоение и напористость национальной самоликвидации; восторг самоотрицания; крайность перерождения; страстное исповедание новой веры — все это очень еврейское, очень специфическое.

Пришедшая в конце XIX века приверженность русских евреев к светскому образованию поразительно напоминала их уходящую приверженность к религии. Только место синагоги заняло русское учебное заведение и место раввина — профессор. И стали молиться не еврейскому адонай элоэynu, а пенатам университета.

Процесс ассимиляции через посредство образования захватил уже третье и четвертое поколения советских евреев, живущих в европейской части СССР. Ассимиляция дала евреям многое: образование, культуру, советский образ жизни, самое передовое на свете мировоззрение, и т.д. и т.п. А что они потеряли? Ну, лапсердаки, пейсы, молитвенники — пусть. Но они потеряли также язык диаспоры — идиш, который в литературе и фольклоре отражал их жизнь и характер, каким он сложился на протяжении нескольких сот лет пребывания в Польше и России. Вместе с языком они потеряли и свою самобытную культуру, без него сразу умершую: песни, театр, поэзию, прозу, публицистику. Первое поколение ассимилирующихся расставалось со своим языком без боли, а последующим и расставаться не пришлось. Они не жалеют ни о чем.

Лапсердаки и бороды, язык и театр — это все зримое. А есть и незримое. Его теряешь — не замечаешь, а оно и есть самая большая из национальных потерь.

Невольно встает вопрос: неужто евреи окончательно лишились стойкости и силы сопротивления, того, что отличало их на протяжении тысячелетий? Повторяю: речь идет не о приверженности евреев к собственной культуре и истории, а о духовной стойкости как национальной черте, выработанной веками упорного сопротивления другим (и совсем не плохим, и часто более динамичным!) культурам.

Массовое возрождение старинного религиозного обихода, некогда сплывавшего народ, среди евреев СССР невозможно. А культуры еврейской в советской стране нет, и нет основы, на которой ее воссоздавать. Молодежь должна бы знать историю своего народа — но кто это позволит? Чистейшей фантазией выглядит сама мысль о том, чтобы в обозримом будущем хоть в одном советском вузе была организована

хоть одна-единственная кафедра еврейской истории. Для кого? Для чего? Что за еврейская история такая?

Таков неизбежный результат приспособления, которое в прошлом уравнивалось внутренней независимостью, и только это равновесие позволило народу выжить. Теперь приспособление нечем уравновесить.

Старинная еврейская энергия сопротивления сумела превратиться в энергию служения новой, доселе невиданной, манящей, светлой культуре. Элемент сопротивления тут сохранился, хоть и был направлен совсем не в ту сторону, в какую направлялся ранее: молодежь сопротивлялась старому еврейскому быту, она боролась со своими родителями. Но и это блаженное время длилось недолго: прозелитский пыл остывает быстро, его даже на второе поколение не хватает. Дети прозелитов уже не бойцы, а просто прихожане, а то и вовсе не верующие.

Но тут я слышу возражение со стороны старого бойца, приверженца ассимиляции: есть ли о чем жалеть? Растворимся, и всем станет хорошо.

Жизнь показала, что, несмотря на многие годы активных усилий, направленных к растворению, оно не произошло. В среде, в которой евреи должны были растаять и исчезнуть, их не приняли, и сами они, видимо, начали понимать уроки своей новейшей истории и почувствовали всю серьезность и всю шаткость своего положения. Трагедия маленького народа, окруженного большими, состоит в том, что его независимость, сохранившаяся благодаря стене отграничения, теряется, когда стена падает. Освободиться от ига старины и стеснительных дедовских обычаев означает для малого народа не только приобретение, но и потерю — потерю национальной целостности.

Никто наперед не знал глубины тех внутренних духовных перемен, которые должны были произойти от наших потерь-приобретений. Баланс плюсов и минусов непредсказуем.

Точно так же, как нельзя было предугадать, что случится через пятьдесят и сто лет после начала ассимиляции, так неожиданными оказались и перемены, наступившие прямо на наших глазах. Прежде чем эти перемены поняли в себе сами

евреи, о них возвестили миру авторы многочисленных книг, статей и корреспонденции, посвященных всему плохому, что удастся найти в еврейском народе.

Враги еврейства иронически толкуют о богоизбранности, насмехаясь над самой мыслью о том, что Бог, которого нет, решил избрать себе какой-то ничем не примечательный полудиккий народ, чтобы ему покровительствовать. В действительной истории дело обстояло наоборот: не Бог — есть ли он или нет его — избрал себе евреев, а евреи сами избрали себе и дею своего собственного, только им нужного и понятного Бога. Свой инстинкт национального (или первоначально — племенного) самосохранения, свою волю к жизни они назвали своим Богом, который дал им законы, дабы они, соблюдая их, соблюдали самих себя.

Бог евреев — это их этническое самосознание, которое погибло бы в изгнании\* и рассеянии, не будь оно оковано религией, как бочка окована обручами.

Итак, евреи избрали для себя свой собственный путь самоограничения, и в этом суть идеи избранничества. Следуя своим добровольно избранным путем в течение двух тысячелетий, евреи несли огромные кровавые жертвы. Но разве независимость малого народа среди более сильных когда-либо давалась легко? Народ, избравший независимость, тем самым избирает себе самый крутой путь, хотя он и не знает размеров своих будущих жертв. Всякое сопротивление означает готовность к жертвам.

Есть одна религия современности, которую поверхностный наблюдатель мог бы по некоторым признакам отождествить с еврейской: это вера в марксизм в том виде, в каком она сложилась в СССР, — здесь она превращена именно в религию. Какое-то чисто внешнее сходство в самом деле существует: здесь так же склонны опираться на цитаты из Ленина, как еврейские талмудисты опирались на тексты из Пятикнижия.

Сходства, конечно, нет. Цели толкования в корне противоположны. Каждая цитата из еврейских священных книг обосновывала утверждение иудейской религии в о п р е к и практическим нуждам современности. Какой практический

\* Первым изгнанием было вавилонское, произведенное Навуходоносором за шесть веков до нашей эры.



толк в том, чтобы ввести пищевые запреты и отказаться от свинины, осетрины и дичи? Нет практической пользы, а есть только практический вред от того, что в субботу и в праздники запрещено пользоваться любым видом транспорта и делать любую работу (недаром же Египет избрал в 1973 году для своего нападения Судный день).

Толкования Талмуда не признают требований утилитарности. Они антипрагматичны, в то время как современное советское толкование Маркса и Энгельса служит исключительно для формального идеологического оправдания прагматической политики и полезных или кажущихся полезными мероприятий.

Служители новой религии ожесточенно ненавидят ту, старую, которую они попросту не понимают. Может быть, тут и кроется один из секретов того бессмысленного неуважения к еврейской истории, которое они проявляют каждый раз, когда им приходится сослаться на нее для пользы своего дела, для нужд своей сегодняшней борьбы за расширение сферы политического влияния.

Верно, что религия евреев трудно отделима от их истории, верно, что она выполняла в еврейской истории ответственной роль, несравнимую с той ролью, какую играло христианство в русской и западно-европейской истории. Но это еще не причина, чтобы ненавидеть еврейскую религию со столь сосредоточенной яростью, какой не удостаивались ни христианство, ни ислам, ни даже кровавая религия ацтеков.

Первая часть очерка была написана, когда мне довелось прочесть давнишнюю и малодоступную советскому читателю работу по истории антисемитизма — книгу профессора Ленинградского университета Соломона Лурье "Антисемитизм в древнем мире". В ней высказана оригинальная и отнюдь не беспочвенная мысль: антисемитизм в эпоху эллинизма возник и утвердился не из какого-то мистического начала, а по весьма реальным причинам. А именно: религия иудеев была настолько чужда окружающему миру, настолько противоположна синкретизму большинства других религий той эпохи, что трудно было ожидать от греков и римлян (в книге идет речь, главным образом, о них), довольно терпимым к чужим культам, доброжелательного отношения к иудеям.

Будучи остронетерпимыми в своих религиозных верованиях, евреи, по мнению С. Лурье, оставались лояльными гражданами эллинистических царств Птоломеев и Селевкидов (а впоследствии — и Римской империи), пока те не затрагивали их веру. И это была та единственная форма, которую в тогдашних условиях диктовал евреям их инстинкт национального самосохранения: быть послушными гражданами, но всеми силами отстаивать свою религиозную — что тогда означало духовную — независимость.

Но не такими уж конформистами были евреи: они восставали против власти Селевкидов и Рима с большей страстью и постоянством, чем другие народы этих великих империй.

Последующая история евреев, как мне кажется, подтверждает — но с некоторыми оговорками — эту точку зрения.

Антисемитизм исторически выражал вражду большинства к меньшинству, которое, вопреки своему униженному и подчиненному положению, ухитрялось не только оставаться внутренне самостоятельным, но и завоевывать себе в окружающем недружелюбном обществе какую-то прерогативу. В прошлом евреи нередко имели прерогативу денежную — по сути довольно эфемерную, так как ни королям, ни черни не стоило особого труда лишить евреев не то что денег, но и жизни.

И все же — упрямое меньшинство продолжало сопротивляться.

Действует ли в евреях инерция их многовекового духовного сопротивления и сейчас, когда религиозных людей среди евреев (особенно — советских) осталось мало, и религия уже не может вобрать в себя всю силу национальной воли к жизни? Возможно ли сейчас вообще такое сильное духовное сопротивление, каким оно было те две тысячи лет, когда оно реализовывалось через веру в своего — только своего! — Бога? Когда веры уже нет, что способно ее заменить?

Надо согласиться, что двухтысячелетняя преемственная, из рода в род переходящая привычка духовного противостояния, привычка быть непохожим на всех, но ничуть не стесняться своей непохожести, — такая привычка не исчезает бесследно. Что-то остается. Какой же вид имеет то, что осталось? Назвать его инерцией внутреннего сопротивления будет че-

решур самонадеянно, и я не решусь утверждать, что евреи обладают прежней духовной стойкостью. Тем более, что живет и действует другая двухтысячелетняя привычка: конформизм. Чуть-чуть больше конформизма — и выйдет сплав иного свойства.

Тут мы вступаем в область неисследованного. Что такое национальный характер? Что в нем изменилось, что осталось? То, что осталось, правильнее всего назвать не духом независимости, а более скромно — духом противоречия. Дух противоречия — несомненная сегодняшняя национальная черта евреев, в большой степени свойственная именно советским евреям. Не назовешь эту черту приятной, но в ней есть начало важных динамических качеств: когда дух противоречия сочетается с размышлениями, то в известных условиях из этого союза рождается критическая мысль.

Важнейшим из таких условий является образованность. Нельзя недооценивать значение того факта, что среди советских евреев число образованных людей непропорционально велико в сравнении со средним уровнем по СССР. Так что если среди советских евреев, несмотря на общий конформизм, все же немало людей, умеющих критически мыслить, то это лишь результат скрещения различных обстоятельств, вытекающих из их собственной истории и истории страны, в которой они выросли.

Однако критически мыслящие тоталитаризму совершенно не нужны. Он требует вашу душу целиком.

Тоталитаризм потому и стыкуется так легко с антисемитизмом, что он решительно не выносит духа противоречия, а критическую мысль — и подавно. Он отлично сознает всю ее опасность. Его ненависть к критикующим и сомневающимся соседствует с его симпатией к конформистам, но намного перевешивает ее. Потому и новейший антисемитизм несколько напоминает слоеный пирог — тесто и начинка. Может быть, тесто важнее начинки, но в конце концов она-то и придает вкус пирогу. Недаром антисемитизм сейчас так решительно выступает против евреев-интеллигентов и делает вопрос о высшем образовании для евреев одним из своих центральных идеологических пунктов.

Тоталитаризм наставил на нас свой пистолет и требует: душу или жизнь! Как ответят ему евреи, я не знаю. Свою жизнь, наверное, никто не отдаст. Будут либо тут же отдавать свою душу, либо стараться сохранить ее, пользуясь тем старым способом, который помогал нам два тысячелетия. Но дело-то в том, что он больше не обещает успеха. Он теперь уже нам не поможет.

История марранов напоминает нам, что такие ситуации, когда старый еврейский способ оказывался непригодным, уже бывали. Марраны ведь тоже сочетали внешнее соблюдение католической обрядности с внутренним неприятием христианства. Но инквизиция их настигла, ее святой деятельности в равной мере способствовали и бескорыстный фанатизм, и корыстное доносительство — инквизиция без стукачей не живет.

Осуждать марранов мы не вправе — их ошибка искуплена мученичеством на кострах. Но их урок забывать нельзя. Долго служить двум богам невозможно. Есть граница, за которой дух критического противоречия вырождается и мельчает.

Тоталитаризм к тому и направлен — обкарнать личность со всех сторон, обезчеловечить ее, но делать так, чтобы она не заметила, как ее обезличивают и обезчеловечивают. Его союзник, антисемитизм, хочет, в общем, того же.

Советские евреи пытаются — правда, без большого успеха — сохранить размер своего участия в русской культуре. Они отстаивают русскую культуру в себе с таким же упорством, с каким когда-то оберегали в самих себе еврейскую религиозную культуру. Они сопротивляются антисемитизму, который находит, что их еврейское стремление в русскую образованность приводит к нарушению равенства наций.

*(Окончание в следующем номере)*

Под рубрикой "Новый взгляд-новая оценка" редакция публикует на этот раз статью Э. Когана о повести Василия Быкова "Сотников", которая вызвала острую дискуссию во французской печати и затрагивает тему, находившуюся в СССР много лет под идеологическим запретом.

Эмиль КОГАН

## ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРЕДАТЕЛЯ

Предательство — одна из излюбленных тем советской литературы. Поток затаившихся белых офицеров, кулаков и врагов народа никогда не пересыхал и был особенно бурным после гроз коллективизации, тридцать седьмого года и Отечественной войны.

Помимо предательства явного, умышленного, существовал и другой вид — непреднамеренного. Ему особенно была подвержена интеллигенция. Рефлексирующий, вечно сомневающийся, неисправимый индивидуалист, слишком привязанный к тому же к своей драгоценной жизни, — такой герой легко и естественно становился на путь измены при благоприятных обстоятельствах (например, война, шантаж).

Впрочем, не всегда и была нужда в особых обстоятельствах. Леонов в романе "Русский лес" разработал даже теорию безотчетного вредительства. По ней определенная категория граждан, обычно буржуазного происхождения, испускает идеологические токсины, отравляя здоровую народную среду. Субъективно они не осознают своей роли, так же как комар не осознает себя переносчиком малярии. Но не следует и удивляться, если ночью к безобидному на вид соседу пришли с мандатом на арест...



Литературный антипод предателя был из рабочих или крестьян. Он-то в конце концов и становился жертвой предательства. Герой был, как водится, сильным, открытым, скроенным словно из одного куска, чуждым источающему душу индивидуализму и наделенным "инстинктивным массовым разумом", — как слегка иронически писал Маяковский. После него никто уже не отваживался на подобную интонацию.

...В шестидесятые годы тема предательства активно разрабатывалась на страницах ежемесячника "Октябрь". Главную опасность журнал видел в либералах и их программе (возвращение к "ленинским нормам законности", расцвет "социалистической демократии", отмирание диктатуры и т.д.). Внутренняя эмиграция, пятая колонна, идеологические диверсанты, — покойный редактор В. Кочетов не стеснялся в выражениях, — продолжали мирными средствами то, что мировому империализму не удалось добиться военными: свержения социалистического строя. Пражскую весну октябристы встретили как подтверждение своей правоты.

Фальцету наследников Сталина вторили мужиковствующие голоса русофилов. Они обвиняли интеллигенцию в отрыве от "земли", национального уклада и сознания. В увлечении химерой материального прогресса и демократии, в преклонении перед западным "благоустроенным муравейником". Своим неверием и нигилизмом либералы-де подтачивают духовное здоровье нации, ее сопротивление "тлетворному влиянию" космополитического Запада. В этом крике души звучала и антисемитская нота.

Атака велась в двуедином направлении, обнаруживая диалектическое объятие сторонников "родной диктатуры" с национальным коммунизмом по-польски.

В лагере либералов касаться темы предательства принято не было. Слишком уж разило от нее полицейско-ждановским духом и потом в доме повешенного не говорят о веревке. Опубликованная в семидесятом году повесть Василия Быкова "Сотников" порывает с этим табу.

## СТАХАНОВЦЫ И ПОЛИЦАЙ

Два партизана выходят из обложенного немцами леса в поисках продовольствия для отряда. Оба они храбры, ни у того, ни у другого не таится на дне души генетической подлости. Они идут к своей судьбе через "суспенс" повествования, через сожженные деревни и полицейские засады, через клочковатые воспоминания детства. Истекающий кровью Сотников — бывший учитель, бежавший из плена офицер. Его поддерживает Рыбак, крестьянский сын.

Сотников приходит к виселице. Рыбак становится предателем, полицаем.

Почему предал Рыбак? Вот что думает по этому поводу Сотников, ощущая затылком прикосновение петли:

"Рыбак был неплохим партизаном, наверно, считался опытным старшиной в армии, но как человек и гражданин безусловно недобрал чего-то. Впрочем, откуда и добрать этому Рыбаку, который после пяти своих классов вряд ли прочитал хотя бы десяток хороших книг. Разве в своем духовном развитии он достиг того уровня нравственности, который бы давал право расценивать его поступки по высшему счету человечности?"

Когда-то, на заре советской литературы, в романе ее основоположника Фадеева "Разгром" из лесу вот так же вышли два партизана. Гимназист Мечик и пастух Морозко. Гимназист предал пастуха. Их портретами-эталоном начинается длинная галерея предателей и героев-мучеников.

Быков оспаривает канон, предлагая свой социальный вариант падения.

Кто такой, если разобраться, Рыбак? Один из миллионов, что выбросила на поверхность новой жизни волна коллективизации. Рыбака она сделала кадровым унтером Красной Армии.

Все эти люди, покинувшие насиженные места, оборвавшие связь с вековым укладом и автоматически-непреложными ценностями, обрели ли они другие, столь же прочные, осязаемые и бесспорные — на гигантских стройках, в коммунальных кухнях, в магазинных очередях и казармах? Стахановцы

и сталевары, рабкоры и ворошиловские стрелки заполнили газеты, книги, фильмы. Взхлеб сообщалось о рождении нового человека, о советском характере и советском патриотизме.

Живые прототипы этих славных фигур не оставались равнодушными ко взрывам всеобщего восхищения. Но уровень их политической зрелости все же трудно установить теперь с научной точностью. За свой доблестный труд работники социалистического фронта получали, помимо знамен и грамот, усиленную хлебную пайку, одежду и обувь, исчезнувшие ко времени великого перелома из открытой продажи. И кто бы решился сейчас утверждать, что их соиздательные усилия были бы точно такими же без соответствующих материальных стимулов.

Этот больной вопрос неоднократно раздавался со страниц демократической прессы. "Новый мир" в эпоху Твардовского делал попытки заново переписать некоторые главы истории индустриализации, открывая голод, жилищный ад, борьбу за выживание в барачных городках, — продираясь к достоверности через толстенный слой официальной позолоты.

## ГРИМ И МАСКА

Как бы то ни было, какую бы степень лояльности ни соглашался признать за народом тот или иной объективный исследователь, бесспорной явилась бы для него преданность режиму той социальной категории, которая на жаргоне эпохи называлась прослойкой или новой трудовой интеллигенцией.

В ее рыцарской верности рабоче-крестьянской власти не было ничего удивительного. Любовь к народу была у нее в крови. Она досталась по наследству от отцов и дедов, исповедовавших в XIX веке культ "младшего брата".

Сон поколений стал явью, "младший брат" — диктатурой пролетариата. Он возвышался могучим и добрым, простым и мудрым, карающим и бесконечно протягивающим руку доверия.

Интеллигент выходил из-под пера хилым и неустойчивым,

чудаком и путаником, если не откровенным скорпионом. Чеховское сострадание к себе подобному сменилось гадливым равнодушием.

А плакатная громада антипода излучала неизбывную стойкость, любовь к родине и партийному руководству, которое, избавившись от приبلудных талмудистов и вражеских лазутчиков, стало народным по составу и сущности.

Первым расшатал эту концепцию не кто иной, как Хрущев. Он снял с фасада вывеску "Диктатура пролетариата" и заменил ее "Общенародным государством", стал расширительно толковать понятие народа, подключив к нему интеллигенцию и запрещая октябристам противопоставлять их друг другу. Признавалось также, что социалистическая демократия еще не осуществлена, но что к ней неотвратимо движется советское общество.

Преемники Хрущева отменили все его теоретические нововведения. Перестали хранить благодстную мину, приводить доказательства доброй воли, тратить усилия на уговоры и убеждения. От полувековой ли усталости, из соображений ли пущей эффективности или же просто отчаявшись свести концы с концами, но власть, казалось, решила: "Плывать мне на вашу веру, было бы послушание!"

И грянули события. Суд над Синявским и Даниелем после торжественных обещаний не сажать более за слово. Реабилитация Сталина. Запретили ссылки на искренний социализм, который вчера еще почитался национальной задачей. Закрыли "Новый мир" — последнюю отдушину конструктивной оппозиции, взамен же цинично приоткрыли дверь эмиграции.

Стало просто невозможно не замечать обмана зрения, принимать по-прежнему народно-революционный грим за истинное лицо власти. Вынужденному прозрению способствовало и поведение аппарата во время недавней вылазки националистов. Жесткие доктринеры, без колебания щелкающие цензурными ножницами при малейшем вольнодумстве, при одном упоминании имени Сталина вне почтительного контекста, они проявили неслыханную терпимость к журналу "Молодая Гвардия", пропуская базарный шовинизм, издева-

тельства над канонизированными революционными демократами и панегирики идеологам русского самодержавия.

...Повесть Быкова, таким образом, — не просто увлекательный психологический этюд, но и как всякое заметное советское произведение — реплика в политической драме своего времени. Высказавшись достойно и умеренно, ни от чего не отказываясь и не отрекаясь, автор напоминает свою родословную, врожденную верность порядку вещей, вышедшему из революции. Он только не соглашается больше с отведенной ему ролью Иуды, злого гения советского мифа. И возвращает опостылевшую маску в тот момент, когда его снова выталкивают на сцену.

## СВОБОДА И НЕИЗБЕЖНОСТЬ

От общей панорамы перейдем к крупному плану. Поначалу ничто в Рыбаке не позволяет предвидеть падения.

Попад в окружение, он мог бы отсидеться в дальней деревеньке у гостеприимной молодки под теплой крышей. Однако он ищет партизан. Нарвавшись с Сотниковым на засаду, они бросились в разные стороны, и тут бы Рыбаку со спокойной совестью скрыться в лесу. Ан нет, он возвращается к отстреливавшемуся товарищу. У него "мучительно сжимается сердце" при виде Сотникова, которого приволокли с допроса.

Он "не любил причинять людям зло — обижать невзначай или с умыслом, когда на него таили обиду". Ничего себе портрет полиция-коллаборанта!

И наконец, это был хороший солдат, "если считать правильным, что главный смысл борьбы заключается в том, чтобы, отстаивая собственную жизнь, причинять вред врагу".

Следует ли отсюда делать вывод, что Рыбак — советский Люсьен Лакомб, как без обвиняков возвещает суперлента, а повесть — восточная разновидность ретроградной моды? Отнюдь нет, в один голос заявляют все писавшие о "Сотникове" французские критики. Читатель, привыкший к парадоксам советских "прогрессивных" писателей, на этот раз может быть спокоен.

"Ни защита, ни парадокс, ни фатализм, — считает Клод Фрийу. — Путь к жертве, как и к предательству, остается полноценным этическим и историческим актом".\*

Утверждение это, правда, грешит излишней горячностью. В сущности, Рыбак "сломался" как-то слишком быстро, слишком сразу для "полноценного" акта. Пожалуй, уже в тот момент, когда попал в руки полиции (погубил кашель простуженного Сотникова на чердаке) и понял, что из переделки не выбраться. Еще ничего не ясно, еще ничего не решено, а он ведет себя на допросе таким образом, что мы уж и не особенно удивляемся, когда следователь предлагает ему вступить в полицию.

Оказавшись в камере и придя в себя от неожиданного и наглого предложения, он тут же и соглашается. Разумеется, для того, чтобы при первой возможности уйти в лес.

"Напрасно лезешь в дерьмо! Позоришь армейскую честь", — еще пытается образумить его Сотников, но решение уже принято. И по мере приближения рассвета и смертного часа всякие сомнения рассеиваются.

Утром группу партизан и их сообщников ведут на казнь. Вчерашний следователь вышагивает рядом. Он, казалось, совсем забыл об их разговоре. И тогда Рыбак вырывается вперед и, преданно глядя в глаза, сбиваясь, напоминает о себе.

И вот он уже в качестве полицая хлопочет под виселицей, старается помочь раненому Сотникову взобраться на подставку.

Да, помилуйте, тот ли это бравый солдат Рыбак, что еще совсем недавно так уверенно чувствовал себя в уставной цепи под командой офицера и готов был в любую минуту принять честную солдатскую смерть от мгновенной пули?

Увы, тот же самый, да только, видно, сознательный выбор между жизнью и смертью не про него. Видно, не на том наш герой социально-этическом уровне (вспомним предсмертное заключение Сотникова), когда подобный акт становится возможным. Далеко здесь до "рукопашной между судьбой и свободой... в ее трагической и прекрасной полноте"!\*\*

\*См. "Le Monde" от 28 февраля 1975 г.

\*\*Там же.

Чтобы усилить ощущение неизбежности, автор в эту тюремную ночь даже "прокручивает" в памяти Рыбака ТОТ САМЫЙ СЛУЧАЙ из детства, в котором уже "отрепетирован" бесславный конец героя. Он тогда спрыгнул с телеги, занесенной над обрывом, бросив порученных ему малышей.

"Отстаивая собственную жизнь", — как объясняет сам Рыбак. Или, как возразил бы ему Сотников: "Ради спасения собственной шкуры, от которого всегда отдает предательством".

### СОЦИАЛЬНЫЙ КАДР

Сам Сотников не колебался ни минуты. Ничего иного, как геройской гибели, и не ждет от него читатель. В памяти персонажа тоже возникает ТОТ САМЫЙ СЛУЧАЙ, только с положительным значением. Детский шок Сотникова связан с отцом, героем революции и гражданской войны, который преподавал мальчику первый в жизни урок правды и чести.

Но не означает ли такой композиционный фатализм, что свобода выбора между петлей и нарукавной повязкой полицая художественно ограничена и психологические возможности образов тем самым заторможены?

Пропорция в Рыбаке добра и зла, не вступивших в реакцию, лишена обязательности и является скорее вопросом вкуса и логики, нежели художественной органичности. Рыбак мог бы быть в начале еще лучше, если бы это не выглядело бестактным; мог бы быть хуже, если бы это не шло в ущерб занимательности. На исход событий ни то, ни другое не повлияло бы.

Надо признаться, что рассудочность конструкции — характерный недостаток советской прозы, особенно когда социально-типическое в персонаже по давней традиции берет верх над индивидуально-неповторимым.

Фатализм композиции создает впечатление, что какие-то душевные импульсы и побудительные мотивы на схемах центральных персонажей оказались в решающий момент как бы "закороченными" и не сработали, не приняли участия в выработке главного ответа.

Отсюда, очевидно, потребность "усложнить" Рыбака под занавес попыткой самоубийства. Отсюда и ощущение загадочности и недоговоренности, исходящее от героев, в особенности от Сотникова. Отсюда такие разные варианты прочтения этой не слишком длинной и не слишком запутанной истории.

Так, Клод Фрийу считает организующей осью повести "предельную ситуацию", "примитивное одиночество", поединков "вне всякой социальной структуры",

Мне же, наоборот, "крайняя ситуация", символами которой "становятся туман, снег, болота", кажется малосущественной. Не в ней реализуется человеческий потенциал героев.

Рыбак с методичностью Шарля Бронсона выдерживает немислимые испытания и отказывается покинуть раненого товарища, сознательно уменьшая шансы на спасение.

Все начинается как раз с переходом из "примитивного одиночества" в переполненную камеру. Здесь собраны действующие лица завтрашней трагедии. Крестьяне, у которых побывали накануне наши партизаны, еврейская девочка Бася. Каждый выясняет свои отношения с жизнью и свидетелями ее последних часов. За дверью прислушивается полицай из местных. Структуры более социальной не придумаешь!

Но критик целиком ушел в свою версию, выдавая повесть прямо за какой-то вестерн: "...пульсация жизни и смерти, никаких дьявольских ухищрений, а только события, события".

По его мнению, "Сотников" выгодно отличается от "самых критических и даже самых острых произведений" советских писателей и литературно опережает Солженицына, у которого целая глава в "Архипелаге ГУЛаг" посвящена схожему предмету — Власовской армии.

Чем же повесть лучше? А своей спонтанностью, отказом от детерминированных схем, тем, что она свободна от "всяческого морализма", в том числе и политического, и выявляет "философский подход менее однозначный, а значит и более современный", чем у Солженицына.

Повесть "позволяет увидеть советскую литературу такой,

какая она есть", — заключает критик, давая понять, что другие произведения этой возможности не предоставляют.

## ДВЕ ВЕРЫ

Кто из современных писателей современнее — спорить не берусь за отсутствием практической пользы и серьезных критериев. Сравнение художественной прозы с документальной публицистикой по степени многозначности — пример такой несерьезности, чтобы не сказать больше.

Вернемся же к Быкову, какой он есть. Его героев разделяет непроходимая моральная стена. По одну сторону от нее те, у кого в нужный момент за душой не оказывается ничего, кроме инстинкта жизни. По другую — те, кто открывает в себе "нечто неизмеримо важнее собственной шкуры".

Это "нечто" — ВЕРА. Верой наделены Сотников и лесинский староста Петр. Но у Петра вера в прямом смысле. Автор настойчиво подчеркивает религиозность персонажа: фразами, старинными иконами. Библией, бородой, всей его суровой и таинственной праведностью.

В повести немало символики. Символичен отец Сотникова, герой революции и гражданской войны. Он инвалид и не у дел. Весь город чтит его как музейную реликвию... В ночь перед казнью Сотникова посещает видение. Перед ярким пламенем печи возникает знакомый силуэт отца. Отец, который никогда не любил попов, говорит, к удивлению Сотникова, старческим, библейским голосом: "Был огонь, и была высшая справедливость на свете..."

Этот ностальгический кадр смыкается стилистически с ликом старосты, освещенным снизу коптилкой, как икона лампадой.

...Перед тем, как захлестнулась петля на шее Сотникова, что выбрал его последний, жадный взгляд? Церковку с поржавевшими куполами без крестов и куполообразную буденновку над полными боли глазами мальчишки из толпы.

Какой же смысл имеет вся эта явная и упорная символика, мимо которой проходят критики?

Может, это особый код, позволяющий автору сообщить

через голову цензуры пронизательному читателю о своей эволюции и подвести под это признание своего любимого героя? Да нет, предсмертные раздумья Сотникова, когда он отказывается принять Христа и его жертву, несомненно, отмечены атеизмом самого писателя.

За символами возникает прежде всего убеждение автора, что человек не может жить без веры. И важно не то, во что он верует, а что он верует. Ибо без веры, без "огня" нет совести и чести, нет личности, а только животный страх перед неизбежным.

"Символизм" Быкова проливает некоторый свет на загадочную эпидемию обращений в христианство советских интеллигентов. Воспитанные в одном моральном абсолюте, они, потеряв веру в него, инстинктивно стремятся к другому. Более десяти лет ушло на поиски искреннего, "ленинского" социализма, на увлечение демократическим идеалом и прогрессом. "Нормализация" у одних вызвала, а у других ускорила крах иллюзий. И вот теперь они один за другим возвращаются в свое естественное состояние, обретенное в православии.

Разумеется, не все проделали путь от буденновки к церковным куполам, но всем "ушедшим" обеспечено понимание и уважение "оставшихся". Уважение, быть может, смешанное с завистью. Любопытно отношение самого писателя к старосте: это и экзотическое любопытство, и подавленная ирония над слишком гротескным и вне рассудка верованием мужика, и в то же время зачарованность его внутренней силой и неуязвимостью.

### "ПЕРВЫМ СТАЛИНИСТОМ БЫЛ ЛЕНИН"

Между "оставшимися" и обращенными не возникло поляризации. Их напрочь связали найденные в совместной борьбе ценности. И хотя эти ценности кажутся, на вкус западного читателя, порою рыхлыми, незрелыми или анахроническими — у себя на родине они имеют откровенный антисталинский смысл.

Иначе трудно объяснимой была бы ярость ортодоксаль-

ной критики. Надклассовый, без берегов гуманизм, неуправляемые, абстрактные совесть и честь вызвали такую реакцию с ее стороны, будто она чувствовала себя лично задетой. В качестве главного контраргумента на свет было извлечено ленинское изречение, во времена хрущевского либерализма стыдливо упрятанное на дно идеологического сундука. Ленин в угаре революции сказал, что морально, мол, то, что служит делу пролетариата. Это был частный вариант нержавеющей тезиса о цели и средствах, что позволяет нынче, одним не без горечи, другим не без злорадства, утверждать: "Первым сталинистом был Ленин".

Рыбак мог бы как щитом прикрыться сталинским этическим прагматизмом. Нельзя же упрекать его за то, что он замыслил провести фашистов. Он уж все равно ничем не мог помочь Сотникову. Как тогда — детям в телеге, занесенной над обрывом.

Так не целесообразнее и в самом деле было попытаться спастись, чтобы сохранить родине лишнего бойца? Не он, так другой вышиб бы подставку из-под ног Сотникова, что было для его полуживого товарища чем-то вроде дружеской евтаназии. И вообще серьезно ли это, борьбу с фашистской системой сводить к "личному участию", к романтической выходке!

...Но вернемся к реальности. Стране в наследство от революции достался культ героической гибели. Расстрел, казнь, смерть на посту от голода и лишений — сюжет бесчисленных рассказов, песен, кинофильмов тридцатых годов. И любой молодой человек, родившийся между двух войн, знал, что нужно делать, если попадал в руки врага.

Так что "военная хитрость" Рыбака была с самого начала фиговым листом, дешевой уверткой. "Зря лезешь в дерьмо..." — с усталой брезгливостью говорил ему Сотников.

И Рыбак горячо сожалел о случившемся. "Прости, брат", — говорил он стоящему под перекладной товарищу.

Добрейшему Рыбаку не повезло. Он бы мог спокойно погибнуть в бою, перечеркнув в себе потенциального предателя. Мог бы и в настоящей ситуации умереть по-человечески, не приди следователю в голову провести на нем бесовский экс-



перимент. Рыбак бы, пожалуй, вцепился в горло немецкому начальнику, почтившему казнь своим присутствием. Впрочем, прежде бы он бросился ему в ноги. И если бы уже это не могло...

Судьба таких, как Рыбак, — русская рулетка, в которой подчас всего лишь один шанс сделаться предателем. Когда они выпадают из привычного социально-репрессивного поля, токи которого обуславливают правильные гражданские рефлексии. Чего они не выдерживают, так это испытания свободой.

А подобные испытания случаются в наше время все реже и реже, даже на войне. Особенно на хорошо организованной войне, когда тыл безотказно снабжает передовую всем необходимым: от снарядов до патриотической прессы, от военно-полевых проституток до гробов. А в спину передним окопам нацелены пулеметы СМЕРШа или эсэс.

Такие испытания под силу лишь героической элите, к которой принадлежат Сотников и староста. Они не зависят от обстоятельств, и у них, как правило, нет выбора.

Но... "несчастлива страна, которая нуждается в героях". Несчастлива — ее костяк хрустнул в стальных объятиях агрессора. Несчастлива — ее инфраструктура не на уровне ее огненной атакующей идеологии. Тогда и вспыхивает массовый героизм. Доблестные рыцари и честные фанатики, от вас зависит наше спасение и рабство.

## НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

Геройская смерть не могла долгое время оставаться вне административного контроля, зависеть от стихийных и преходящих факторов. На подступах ко Второй мировой войне она из романтического, желательного акта стала обязательным. "Последняя пуля себе!", "Русские не сдаются!" — было неписанным армейским законом. Неписанным — ни в устав, ни в присягу он все же внесен не был; законом — иного выхода не предусматривалось.

Пленение считалось позорным и ни при каких обстоятельствах не допустимым фактом (кроме беспомысленности, что все равно невозможно доказать). Поэтому эшелоны с освобожденными

денными военнопленными и покатали с Запада прямым ходом на острова "Архипелага". В тот же путь отправились выловленные в Европе советские партизаны.

Что касается населения, оставшегося под немцем, то еще долгое время после войны во всех анкетах сохранялся вопрос: "Проживали ли вы на оккупированной территории?", и утвердительный ответ автоматически препятствовал поселению в крупных городах и получению сколько-нибудь важной работы.

Кажется, советским гражданам не доверялось физическое соприкосновение с врагом или просто с "чужими", как отвергается некоторыми видами птиц птенец, выпавший из гнезда и побывавший в человеческих руках. И борцы, и коллаборанты подвергались десятилетнему лагерному карантину. Общей участи не избежали даже "профессионалы контактов", если вспомнить судьбу дирижера Красного оркестра...

В силу этой логики отношения между населением и ушедшими в лес властями не могли быть вполне безоблачными. Быков изображает эти отношения с гораздо большей открытостью, чем кто-либо до сих пор. Его Сотников и Рыбак, выйдя из лесу, не встречают восторженного приема. Лесиновский староста принял их сначала за бандитов, нагрянувших за водкой и харчами. И хотя недоразумение рассеялось, взятый ночными гостями тон не сулил ему ничего хорошего.

Для них староста был "немецким прислужником", и они не желали вдаваться в его мотивы. Может быть, иконы, Библия и борода угодника были уже сами по себе достаточным ответом? А между тем, прояви Сотников немного любопытства, ему стало бы известно, что Петр занял место старосты, на которое, кстати, метил известный садист, по настоянию секретаря райкома.

Надо сказать, что Сотников и Рыбак мало задумываются над трагическим положением крестьян. А ведь и староста, который не заявил в комендатуру о реквизиции, и солдатка, мать троих детей, которая встретила их не слишком приветливо, но при приближении полиции велела лезть на чердак, — все они отправляются на виселицу как пособники партизан.

Там, где прошли партизаны, немцы оставляют трупы и пожарища.

Но вместо естественного сочувствия и даже солдатской вины перед беззащитными, по сути, стариками и женщинами мы наблюдаем самоуверенность и снисходительную строгость наехавших на село районных начальников.

Рыбак выговаривает старосте, что он позорит сына, бойца Красной Армии.

— А он меня не опозорил! Немцу отдал — это не позор! — отвечает старик. Такая постановка вопроса должна была показаться кощунственной. Но в наступившей угрюмой тишине чуткий читатель слышит имя настоящего виновника, которое мешает произнести цензурный кляп. Имя того, кто со своими соратниками несет ответственность за разгром захваченной врасплох и обезглавленной ими же армии, за миллионы пленных и брошенных на произвол судьбы мирных жителей, которым приходится теперь выслушивать уроки патриотизма от представителя власти Рыбака.

## ПРОЩАНИЕ С ЯСНОСТЬЮ

Трудно сказать, чего больше в отношении Сотникова к крестьянину: революционно-пролетарского недоверия или здесь тот интеллигентский грех, который любовь к народу в целом совмещает с неприязнью к отдельному конкретному мужику. Война, конечно, велась за освобождение всего народа, а этот мужик служил материалом для победы, как в годы коллективизации он был материалом для социалистического строительства.

Разумеется, во всем этом нет недобросовестного умысла. Ведь и свою жизнь Сотников не берег для светлого будущего. И что до колхозов, то не тормозить же необратимый революционный процесс, чтобы принориться к заскорузлomu, не желающему знать своей пользы и, вообще-то говоря, реакционному (не по своей тем более воле, а из-за векового угнетения и поповщины) — муж и к у .

Сотников напоминает чем-то другого героя, схваченного совсем в иной манере и под другим углом зрения: солжени-

цынского Зотова из "Случая на станции Кречетовка". Честный Зотов выдал органам безопасности подозрительного человека, который оказался без документов и назвал Сталинград Царицыным. Такой ляпсус вполне мог сделать засланный диверсант со смешными замашками интеллигента... Всю жизнь преследовал Зотова образ этого человека.

Ничего подобного не испытывает быковский герой. Он уходит из мира сего со спокойным достоинством, с уверенностью, что честно прожил свою короткую жизнь. Жесткий, хмурый, немногословный, судящий прямолинейно и бесповоротно — он вызывает тем не менее горячую симпатию читателя. Да и в чем бы мы стали его упрекать? Что он разделял представления, привычки и абсолютную веру своего поколения? Так он заплатил за свои исторические заблуждения, как и многие его сверстники, жизнью.

Не обвиняет его и Быков. Но, кажется, именно в этой повести писатель впервые отчетливо и сознательно отстраняется от своего героя. Взятая дистанция и есть отличительная черта нового духовного этапа.

Прежний был отмечен ясностью. На одном краю находились романтики и рыцари, наделенные сердцем и совестью, потомки ленинской ветви революции. На другом краю — слепые исполнители, не останавливающиеся ни перед какими средствами, манипулирующие людьми как рычагами. Фанатики, лицемеры, трусы. И синдром Рыбака был бы удобной оказией для очередного разоблачения.

...Измученный бессонной ночью и первой в своей жизни казнью, как рад он снова оказаться в строю! Не в партизанской, так в полицейской колонне ощутил он себя "привычно и обыкновенно".

...Из одной шеренги в другую перескакивает еще один участник этого жуткого кордебалета, некто Портнов. Агитатор райкома, специалист по атеистической пропаганде до войны — следователь полиции при "новом порядке". Автор не случайно занес его в списки профессиональных гонителей веры.

Но пора лобовых атак подошла к концу. Сталинизм исчерпал себя в литературе как патологическое уродство или

персонифицированный порок. На рубеже семидесятых годов он стал осознаваться явлением всеобщим, болезнью времени. Этой болезнью перестрадали и подлецы и герои, и ее последствия дают знать о себе по сей день в разной и порою неожиданной форме.

Это и догматичность, негибкость суждений, и неумение видеть мир во всей его полноте, и отказ признать за противником благородство побуждений и отправную искренность. Это и неспособность к умственному и моральному анализу вещей, окруженных ореолом идеологии, и утверждение единственным критерием истины своего личного и национального опыта...

Читатель приглашается добавить к этому перечню, что ему подсказывает сердце. Ведь и сам писатель реализует в герое все то, что ему удастся изгнать из тайников памяти и сознания. Что неизлечимым грузом лежит на душе его поколения, прошедшего войну, двадцатый съезд, н о р м а л и з а ц и ю .

Идущий на смерть Сотников восстает против культа смерти. Он представляет, как будет висеть, "свернув голову на плечо, беспомощно, отвратительно и безголосо".

Смерть — не экзальтация, не героическое воспарение, а "печальная необходимость". Смерть — лишь цена верности самому себе, цена собственного достоинства.

В последние минуты Сотникова посещает мысль о Христе и оставляет равнодушным. Идея личного спасения, когда счет шел на классы и народы, должна была показаться ему нескромной и эгоистичной.

Сотников умирает без мистических успокоительных средств и отказываясь вспаивать своей кровью вампира идеологии.

## **БЫКОВ И СОЛЖЕНИЦЫН**

Появление Быкова во главе новой группы очень интересных советских авторов (их произведения сейчас готовятся к печати) поможет французскому читателю обогатить представление о литературе, которую было бы неразумным сводить к нескольким, пусть и заслуженным именам.

Читателю легко будет убедиться, что эти известные ему имена и "внутренняя литература" — явления вовсе не разные. Что те и другие принадлежат к одной культурно-психологической формации, к одному типу homo sovieticus и не слишком расходятся в оценке ситуации.

Должен признаться, что в отборе запущенной на западный книжный рынок советской продукции я лично не замечал ни коварного умалчивания, ни интоксикации, ни чрезмерной диспропорции. Любому книжному успеху, большому или малому, можно, если захотеть, найти подходящее объяснение, опуская гипнотические ссылки на талант, премии или антисоветизм.

Например, признание того же Солженицына кроется в панорамном воспроизведении послевоенной жизни страны. В обращении к наиболее щекотливым, а стало быть, наименее освещенным моментам истории. Без цензурных оков он идет не только, куда хочет, но дальше и быстрее соотечественников. Солженицын первым успевает сформулировать то, к чему другие только интуитивно приближаются.

Даже его политические взгляды, обескураживая западного читателя, служат надежными ориентирами, без которых не проредешь через дремучий лес русской действительности.

"Сотников" и страницы "ГУЛага" о Власовской армии не располагают к сравнению из-за жанровой и проблемной несовместимости. Но поскольку это все равно делается и при том с единственной целью — столкнуть лбами обоих писателей, попробуем-ка сопоставить их и мы.

...Перед пленными советскими солдатами, по Солженицыну, стоял неминуемый выбор: служба у Власова или голодная смерть, на которую они были обречены немцами и Сталиным, отказавшимся от услуг Красного Креста. Задача вербовщиков облегчалась, надо полагать, впечатлениями, которые солдаты вынесли от жизни на родине. Нет сомнения, что для небольшой части этих людей измена выглядела борьбой за освобождение от сталинского ига.

Около миллиона русских, одетых в шинели неприятельской армии! — это достаточно много, чтобы позволить писателю, самому сражавшемуся с власовцами, объяснить через

треть века после окончания боев этот эпизод. Неуместное несправедливо упрекать Солженицына в "потворстве" и ставить ему в пример патриотизм Быкова.\*

Прозаик Василий Быков власовской дилеммы, строго говоря, вообще не касается. Его герой не солдат, а полицей, подручный палача, у него не может быть да и нет никаких идеологических претензий...

И все же предательство кадрового старшины — не просто "смесь снега и войны".\*\* Оно вытекает, хотел этого автор или нет, из самого факта советской действительности, упраздненной вековые нравственно-религиозные регуляторы и не давшей взамен того идеала, который бы стал "дороже собственной шкуры".

Крестьян и выходцев из развороченных веком низов было, очевидно, немало во всех полициях под немецкой оккупацией. Откроет ли нам когда-нибудь статистика, сколько их было в стране, в которой власть декларирована монополией народа и которую война застала в разгар социалистического строительства?

\* Как это делает Клод Прево в "**France Nouvelle**" от 31 марта 1975 г.

\*\* Клод Фрийу. Рецензия "Трагическое видение Василия Быкова", "**Le Monde**" от 28 февраля 1975 г.



*Александр ПЯТИГОРСКИЙ*

## ПАСТЕРНАК И ДОКТОР ЖИВАГО

*Субъективное изложение философии доктора Живаго*

**Евгению Шиферсу — с радостью.**

В феврале 1975 года русисты из Кембриджа попросили меня прочесть лекцию о философских идеях в романе "Доктор Живаго".

После лекции один из членов колледжа меня спросил, о чем же я, собственно, рассказывал, — о философских ли взглядах самого Пастернака, вычитываемых из текста романа, или о некотором объективном философском содержании, своего рода теоретическом "уроке", который может из романа быть извлечен? — Ни то, ни другое — смело отвечал я. И, вдруг, подумал, что и на самом деле ни то, ни другое, а совсем — третье. В течение лекции, сам того не понимая, я говорил только о философии Юрия Андреевича Живаго, человека, на протяжении всего действия романа ведущего себя совершенно спонтанно, самостоятельно.

Живаго не был ни "двойником", ни "детищем" Пастернака (что бы тот сам об этом ни думал). Пастернак сделал его врачом и поэтом, мужем и любовником, счастливецем и несчастливцем. Он "запустил" его в книгу, в Москву, чтобы потом забросить в самую далекую провинцию и опять вернуть в Москву для невообразимой жизни и легкой смерти.

Но, кроме и вне всех этих необходимых и ненужных для романа (а, порою, до искусственности, до небрежности случайных) обстоятельств, Юрий Андреевич жил своей, наполненной скрытой от автора, призрачной жизнью. В жизни он был настолько гомункулом, что Чацкий, Онегин и персонажи "Петербурга" Белого в сравнении с ним показались бы реальными кузенами своих создателей. И если есть в Живаго сходство с Пастернаком, то оно есть лишь в романических образах и обстоятельствах, которые сам Пастернак и сделал. Остальное же, и главное в Живаго, — не содержалось в Пастернаке никогда, да и, по-видимому, ни в ком. Я думаю, что именно в этом несравненная удача и счастье Пастернака.

Так что же произошло с доктором Живаго? И вообще, к чему весь этот разговор? И где здесь философия, и религия, и Россия, и мир?

Забегая вперед, отвечу только на первый вопрос: с Живаго не происходило ничего.

## ПЕРВЫЙ ШАГ НАЗАД

Русской культуре всегда не хватает времени. Но... выручает пространство. Поэтому мы говорим: "Московский период", "Петербургский период", "Московский период"... Так, "Петербургский" пережил даже превращение Петрограда в Ленинград. Помог москвич Бугаев. Написал "Петербург". А кончился "Петербургский" только тогда, когда Анна Андреевна Ахматова умерла, а Иосиф Александрович Бродский уехал не известно куда (то есть — в Мичиган, что — то же самое), а москвич Владимир Николаевич Топоров написал свою замечательную "структураивную трилогию" о Петербургском периоде.

В конце концов, можно было всегда сесть в вагон или самолет и приехать из черт знает откуда в Петербург, Москву или даже Ленинград. Иногда такие поездки имеют большое, даже "культурное" значение и, самое забавное, это то, что наибольший "культурный" эффект достигается именно в тех случаях, когда вновь прибывающие не включаются в "период" одной из двух метрополий, а... остаются в некотором роде

самими собой, то есть, провинциалами. Включение происходит незаметно. Не странно ли? И выключение — тоже. Так ведь Пастернак был человек блистательно-столичный, а Юрий Андреевич, по тону и характеру, почему-то — провинциал. Так, когда-то, далекий провинциал Георгий Иванович Гурджиев "незаметно для культуры" приехал в Москву и Петербург и спустя лет пять или шесть так же незаметно и уехал. Года за два до отъезда из Москвы Живаго уехал на Юго-Восток, хотя и прожил всю последующую жизнь на Западе. Спросили бы в пятидесятых годах у старых культурных москвичей: — кто помнит Гурджиева? Кто из выживших и доживших? Я вспомнил о Гурджиеве не случайно, ибо он был для России "чужой" мистик, такой же чужой, каким стал в конце десятых Живаго. Это в России — редкий случай. Чужой, значит — н а б л ю д а ю щ и й . Русская среда не любит наблюдения. Она любит участвующих и причастных.

Наблюдение, пусть даже мистическое, есть для нее высшее оскорбление и презрение. Гурджиев, как практический мистик, просто не знал, к какой культуре принадлежал — "русской", "кавказской", "французской". Такие, как он, появляясь физически в чужом месте, прибавляют к его культуре что-то совсем не необходимое, часто даже, кажется, лишнее. Эта "лишность" выражается в безвкусице, экстравагантности или прямом идиотизме поступков, ибо поступки вытекают не из жизненных ситуаций, а из мистического типа этих людей.

Живаго знал, к какой культуре он принадлежит, и никогда не сомневался в своей принадлежности к ней. Он ее помнил, точнее себя в ней и в Сибири, но, вернувшись в двадцатипятилетнюю Москву, он эту культуру уже не узнал. Не потому, что она была раздавлена, не потому, что она перестала быть его культурой, а потому, что она перестала быть "своей". Потому, что в Сибири, с Сибири он стал ее н а б л ю д а т ь .

Живя в столице, Юрий Андреевич жил в отношении духовной культуры как бы в провинции; Россия не нуждалась в новом спиритуализме — Москве и своего было с избытком. Русская культура была и так в столичных своих проявлениях развита-переразвита. Авторы "Вех" этого не заметили, ибо они были в этом. Да и вообще, проблема русской (и всякой)

культуры не в том, высокая она или низкая, и даже не в том, самобытная она или заимствованная, а в том, можно в ней жить или нет. А когда становится нельзя или трудно, тогда вдруг оказывается, что, кроме истории, существует еще и география, то есть поля, леса, просторы, реки и все такое прочее. Молодой Живаго первого тома романа жил в своей мещанин, готовя себя неосознанно к будущему свидетельству.

Но все-таки сам Пастернак был в высшей степени человеком культуры. И русской и всякой вообще. То же "лишнее", та "добавка", которую сделал Живаго, кажется, скорее актом неподчинения Живаго — Пастернаку. Но мы еще вернемся к русской культуре в связи с Живаго позднее, а теперь я позволю себе порассуждать и повспоминать о русской религии в связи с культурой.

Я жутко ясно помню, как в январе 1945 года шел по Маросейке с двумя своими одноклассниками-фронтовиками, бывшими старше меня на пять-шесть лет, Петром Аверьяновым и Вадимом Лукьяновым. Вспоминая их разговор тогда друг с другом, я теперь (тогда мне было 16 лет, и я этого не понимал) считаю его первым шагом своего, и по сию пору далеко не законченного религиозного образования. Аверьянов говорил (он всегда говорил, как будто читал заранее подготовленный доклад): "То, что происходит сейчас с религией в России, свидетельствует о неизбежном возвращении к онтологическим истокам и мистическому персонализму". (Примерно то же самое через 25 лет после того говорил мне Е. Л. Шифферс). "В этом смысле любое противопоставление Православия Иудаизму, любому неортодоксальному движению или индивидуальной неортодоксальности было бы тяжелейшей ошибкой". Вадим Лукьянов спросил: "Означает ли это сознательную и последовательную философизацию религии, ее уход от традиционно-организованной обрядности?" — "Ни в коем случае, — отвечал Аверьянов, — но самый исторический опыт существования Православной церкви в России последних четырех веков показывает, что для ее церковного существования необходима полная разомкну-

тость. Духовная, конечно. Пусть даже ценой прекращения ее существования, как строго-централизованной иерархии. Посудите сами, сейчас эта иерархия гальванизирована новым военным правительственным национализмом. Это — не выигрыш для церкви, не победа, а последнее поражение. Страшнее для духа церкви не могло случиться ничего. Все, что может случиться в будущем, — будет только лучше. Пусть церковь разомкнется и примет в себя и староверов, и Толстого, и Гурджиева — ему было невдомек, что Гурджиев, как оказалось, никогда и не выходил из Православия, и не был никогда им отвергнут. Ведь не извергла же она из себя пантеиста Розанова." Так я впервые узнал о существовании Гурджиева и Розанова. Вскоре после этого Аверьянов умер. Лукьянов теперь доцент на кафедре марксизма-ленинизма.

Я вспоминал об этом разговоре часто. Вспомнил о нем и тогда, когда, сидя среди добрейших людей, под уютным абажуром, впервые услышал о "Мастере и Маргарите", книга еще не была опубликована и читалась вслух по не известной какой рукописи. Московские интеллигенты были потрясены книгой. Один из слушавших сказал, что теперь он понимает христианство (или Евангелие — точно не помню). Другой решил, что в этой книге искусство и религия — одно и то же. Третий предложил немедленно отправиться гулять во все места, описанные в романе, что и было тут же сделано. Сейчас легко над этим смеяться. Но тогда, в середине пятидесятых, еще не было злостного непонимания. Скорее, это была еще одна попытка "отложить" разрешение кризиса. Почти всеми, кто читал "Мастера и Маргариту" религия воспринималась в этой книге, как культура и литература, до покойного Аверьянова надо было еще дорасти. На Пасху ломились в Новодевичий. "Для меня это — не религия, а красота!" — восклицал один из замечательнейших музыкантов того времени, считая оборванные в давке пуговицы. Над этим тоже не надо смеяться. "Он всем нам вернул Москву", — говорил о Булгакове крупнейший московский режиссер. Один очень саркастичский юноша сказал про всех этих людей собирательно: "Они — православные булгаковского призыва".

"Доктор Живаго" грянул, как гром среди ясного венгер-

ского неба. Огромную роль сыграл, бессознательно, один простой факт: Пастернак издал эту книгу, чтобы затем умереть, а вовсе не затем, чтобы получить Нобелевскую премию, как думали и даже писали некоторые кретины. Но и понимать, и просто читать "Доктора Живаго", оказалось много труднее булгаковского романа. Оказалось, что "культурой и искусством" здесь не отделаешься. И московско-сибирской ностальгией — тоже. Оказалось, что эту книгу невозможно свести к общему знаменателю — художественному, религиозному, этическому — любому.

Среди тех, кому "Живаго" нравился, были и такие, которые поняли, что смысл романа — в ощущении краха, крушения, и что сам доктор свидетельствует об этом своими стихами и своей жизнью, которая сама и есть комментарий на эти стихи.

Только маленькая группка понявших это смогла увидеть и другое: свидетельствуемая доктором Живаго катастрофа была не гибелью культуры, а гибелью духа, за которую те, кто ее допустили, заплатились культурой.

Но это момент, так сказать, "субъективный". Объективность, это — текст романа и внутри его — другой, автономный текст думанья и переживания "лирического доктора". В этом последнем тексте мало конкретной религии и еще меньше выполнения Закона. Нет там и плача по культуре, то есть плач "не получился", сколь бы ни хотел этого Пастернак. Почему же? Прямой ответ здесь — невозможен. Но можно думать, что сама религия в то время, в том месте и в тех людях (крещеных и обрезанных) стала покидать культурные формы, стала свертываться, сжиматься, деманифестироваться, переходить в неявное состояние. Отсюда — успех "безместного" Гурджева и европеизированного индийца Кришнамурти — в Европе. Отсюда же — колоссальное влияние Ганди, отринувшего форму традиции, — в Индии. Отсюда, наконец, печальный иронизм Булгакова, ибо его Мастер-то плакал по пустой оболочке духовного, по дому, где никто не живет. Может быть, этот "уход" (или — "переход") духа и обусловил неосознанное стремление еще молодого Пастернака к редукции сложной

активности. Но понять эту "объективность духа" двадцатых годов из пятидесятых было очень трудно. Особенно — сразу же после смерти и из-за смерти Пастернака.,

Его похороны весной шестидесятого показали мне последней "выставкой" московской культуры: этуод Шопена, десятки раз проигрываемый Рихтером, стихи, читанные Голубенцевым, надгробная речь последнего московского философа Валентина Фердинандовича Асмуса, спина Синявского... "Господи, да что же это такое делается", — простонала милая пожилая дама, когда огромный грузовик "случайно" загорюдил путь погребальной процессии. — "Ровным счетом ничего, мадам, — наставительно срезонировал друг моего детства, врач-гинеколог Андрей Иванович Архангельский. — Вы просто не заметили, что грузовик стоял здесь всегда. Я хочу сказать, что не было времени, когда бы его здесь не было. Этот грузовик — онтологичен".

За дамой стряло лет шестьдесят московской культуры. За Архангельским — тридцать лет поверхностной образованности, легкого советского цинизма и... той странной и случайной остроты проникновения в невиденные и неизвестные им вещи, которой иногда помогает необремененность культурой. При слове "онтология" стоявший рядом профессор Асмус посмотрел на Архангельского с таким изумлением, как будто тот заговорил, по меньшей мере, по-древнегречески. Ведь даже в сороковые годы сказать что-нибудь в этом роде уже означало принадлежность определенному типу культуры и образования.

Прямо с похорон я вернулся "под абажур" в семью моих старых друзей. Половина этой семьи была истреблена между 1927 и 1952, а оставшаяся половина состояла из профессоров, артистов и писателей. Вдова хозяина дома (он покончил с собой в 1930) говорила о Пастернаке "...он внутренне был глубоко религиозен, этически, нравственно"... Другие говорили о его православии, о том, что он вернулся к православии. Я же не мог заставить себя думать о Пастернаке, но опять думал о двадцатых годах.

Да, на самом деле с ним мы хоронили те же двадцатые — не до и не после, не больше и не меньше, а совсем не всю "мо-

сковскую культуру"! Двадцатые — с их поразительной изолированностью духовной жизни одних от культурной — других. С их изолированностью духа от культуры порой в одном и том же человеке. Двадцатые — с разнообразнейшей жизнью разных людей, необычайно причудливо соединенных в иные группы и общности, нежели те, к которым они принадлежали по рождению.

Пастернак двадцатых годов психологически принадлежал к миру нового искусства и делил с ним его особенности. И самой главной из этих особенностей было то, что люди нового искусства и новой науки — тоже жили как бы одновременно на двух несводимых друг к другу уровнях — м и р о о щ у щ е н и я и м и р о в о з з р е н и я (эту идею впервые высказал искусствовед Игорь Голомшток). На уровне мироощущения они были великими познавателями и трансформаторами вещей, образов и понятий. Их конкретный чувственный опыт был уникален, потому что уникален был материал. На уровне мировоззрения они были создателями концепций. Чаще — их соавторами — "авторы" не занимались ни искусством, ни наукой. Концепций, объясняющих другим людям природу и цели работы ученых и артистов.

"Эка невидаль! — скажут мои современники, — да ты что, дурак, вчера родился? "Но тут надо понять вот что. "Двадцатилетичники" не были двоемысленны (как их дети, младшие братья, да позднее и сами они, вернее — то, что от них осталось) . Они думали на самом деле, что на обоих уровнях продолжают быть самими собой. В то же время, они часто просто не знали о такой двойственности своего сознательного бытия и полагали, что все, что с ними происходит, — едино и органично. "Иллюзия органичности" — оборотная сторона любого конструктивизма — вот что проникало в эстетику и лингвистику не только марровскую, но и поливановскую психологию и социологию.

В жизни элиты того времени, жизни яркой, активной и динамической, Пастернак обретал какие-то экзистенциальные смыслы (на уровне мироощущения — только!). Смыслы эти затем постепенно "испарялись" из его творчества. Еще позднее они стали исчезать и из его памяти — удерживая их, ему

бы не написать "Доктора Живаго". Да, в те самые годы им, то есть Живаго и Пастернаку, едва ли было возможно и встретиться. Живаго не часто заглядывал в бурлящий котел двадцатых годов из своего чердачно-подвального полунебытия. Почему же? Что ему мешало? Одна очень простая вещь. Во всем, что там делалось, говорилось, писалось, рисовалось, игралось — во всем этом для него не было смысла. Может быть, его там и не было вообще?

## ВТОРОЙ ШАГ НАЗАД

Итак, когда в Москву десятых годов "заглянул" Гурджиев, Бог которого был его приключением, там еще смысл был. Но сейчас мне, чтобы двигаться дальше в моем мироощущении, необходимо на время отвлечься не только от личностей, но и от мест и времен.

Роман Пастернака, если смотреть на него не с авторской и не с внутренней точки зрения, а с точки зрения постороннего наблюдателя,— покажется сделанным слегка в духе религиозного символизма. Сама композиция романа, вплоть до отъезда Живаго из Москвы, строится во времени таким образом, что события личные, вместе с московскими, российскими и мировыми, образуют как бы ряд вех. При этом сложность и загадочность символики событий — чисто внешняя, ибо автор как бы "спереди назад" знает все значенья этих событий как вех, то есть их смыслы в отношении времени, в то время как действующие лица романа прямо из кожи вон лезут, чтобы узнать, но — не могут. Но почему не могут? Этому можно найти две причины. Первая — почти всё, что герои романа пытаются "распознать" в бесчисленных разговорах о событиях, все это сводится к будущему. И это, несмотря на сбивчивость и нелогичность, сказано просто и в лоб. И, может быть, именно от этой "будущности" сами события кажутся запутанными, а разговоры о них — гнетуще вязкими, это вам не божественная чистота булгаковского повествования и не поэтическая логика Блока.'

Вторая же причина, это то, что все действия, слова и мысли



героев осознанно или Неосознанно передают их мировоззрение\*. Я опять думаю о двойственности людей двадцатых годов и о том, что на Россию начала века Пастернак смотрел из пятидесятых, но через двадцатые. И здесь обнаруживается одна престранная вещь: у Живаго мировоззрения как бы вообще не было. То есть у него не было той, внешней его душе, общей интерпретации смыслов, которая и есть мировоззрение. Мировоззрение, это — когда смыслы отражаются человеком, когда они не проходят через него. В мировоззрении смыслы, отражаясь, теряют свою онтологичность, но не приобретают персонологичность, ибо они не прошли через личность.

Из всей "свиты" молодого доктора до Москвы 1918 года добирается, кроме Тони, только Николай Николаевич, к которому лишь потом присоединяются молодые люди — Дудоров и Гордон, манекенно-символический свободный брат Живаго — Евграф и нависающий над далеким горизонтом Стрельников, в детстве — Патуля. У каждого из них — своя функция отражения смыслов. Дядя Николай Николаевич — прогрессист, понимающий, что революция необходима для социального, экономического и культурного прогресса страны. Стрельников — террорист, воплощающий негативную сторону революции. Он — не бандит, а вполне сознательный убийца, понимающий, что уничтожение людей есть один из важнейших способов преобразования их жизни. Он — "инструментальное" начало революции. Евграф — воплощение некой "теневого" революционной власти (скоро она вся станет теновой); он "мистически" стоит над Стрельниковыми, терпеливо дожидаясь своей очереди быть расстрелянным. Гордон и Дудоров воплощают в себе "позитивный" результат революции. Они, некоторым образом, — культурные люди, хотя сами культуру — в манере и мере двадцатых годов — производить не могут, да и вообще ничего не могут производить, кроме невообразимых пошлостей.

Посмотрите, как в эпилоге романа они "приходят" к выводу, точнее, их притащили к выводу, что война с немцами

\* Это, хотя и банально, но очень важно, ибо с чего бы нам тогда недоумевать, читая идиотский эпилог романа? Ведь это — неорганическое — мировоззрение сделало Гордона (и других) идиотами.

хороша, потому что реальна. А не прямая ли это "символика трансформации"? Не превратился ли здесь коренной русак и земский философ Николай Николаевич в еврея первой советской формации Гордона? Но что не удивительно — при внимательном прочтении весь этот немислимый по тупости эпилог оказывается правдой. И не какой-нибудь там художественной, а тупой, фактической правдой.

В описании Пастернаком смыслов в первой части романа можно заметить, что Пастернак как бы исходил из естественной сопричастности читателя атмосфере начала века, исходил из понимания читателем и того, как эта атмосфера порождала свои символические осмысления и предвиденья. Может быть, Пастернак просто принимал людей пятидесятых и сороковых годов за своих современников по двадцатым? А если так, то что это — ошибка или прием?

Интересно, что сейчас и для нас символизм как художественный принцип почти полностью бессодержателен. Но какой бы из русских "символизмов" мы ни взяли, они отражали смыслы времени и главный из этих смыслов — бессилие человека XIX века решить проблему "жизнь-смерть" на уровне эмпирического сознания — все равно какого — поэтического, сознательного, даже — религиозного.

Когда Юрий Андреевич вернулся с фронта, смысл уже начал покидать многие идеи и среди них — идею исключительности судьбы России. История быстро восполнила эту потерю, сделав бессмысленное исторической действительностью и этим практически опровергнув идиотскую формулу Гегеля. Или, можно еще сказать так: смысл стал уходить из времени. В романе это выразилось в едва заметной перемене: люди стали говорить — и делать — совершенно бессмысленные вещи. Почему? Потому, наверное, что и до этой перемены восприятие ими смыслов было неполным, частичным. Впоследствии же всякая частичная правда превратилась в строго ей соответствующую полную ошибку. Таких ошибок было много, но все они "стягивались", логически редуцировались к коренному непониманию двух вещей, о чем сейчас и пойдет речь.

Самый умный из окружавших Живаго в юности людей и,

может быть, вообще единственный умный человек первой части романа был, конечно, дядя Николай Николаевич, который не только понимал неизбежность изменений, но и их положительную необходимость. Положительную в том смысле, что существующее мыслилось им, как то, что должно и может быть преобразовано, развито, но не уничтожено.

Его антипод, Антипов-Стрельников, коренным образом отрицал не только весь образ жизни, но и все, что было с ним связано. Включая сюда и то, что было с ним отрицательно связано. Революция для Антипова была объективным этическим актом мести. Антипов — этически, то есть только этически, ориентирован на революцию как на высшую цель, как на ценность, рядом с которой не может и не должно быть никаких других ценностей. Все другие ценности должны были из нее как бы автоматически возникнуть, либо как нечто побочное и вторичное, например, культура, либо как конечный, постоянно отодвигаемый во времени результат, например, счастье. У него хватало ума понять, что сама революция — не этична, что она есть причина этики завтрашнего дня, то есть, той этики, которую имела в виду Лариса, называя Антипова "самым честным человеком на свете". Но вот, что замечательно! Как для Веденяпина, так и для Антипова, как и вообще для большинства писавших, говоривших и думавших, ожидаемая революция была вещью совершенно объективной, над- и внеличной ("революция была тогдашним, с неба на землю сошедшим Богом"). Каждый надеялся, что она ему чего-то даст, или боялся, что она его чего-то лишит, но всё и всякое думанье о революции совершалось в "терминах другого". О ней оказалось невозможным думать в своих словах. Думали о "ней", о "них", о "нас", наконец. И так буквально у всех — у Белого "оно", у Блока, у Брюсова, у Маяковского. Не хочется повторять банальности, но в тогдашнем мышлении о революции можно увидеть нечто от призывания "сил зла", от извращенного мистицизма.

Так вот, первая ошибка, первая "непонятная вещь", была очень проста. Думая о революции, они понимали, что кто-то будет убивать кого-то, но они не поняли, что это их будут убивать и что они будут убивать. В том великом, может быть,

самом страшном выборе, который был предоставлен героям романа и человечеству, — выбора между "убивать" и "не убивать", они решили — убивать коллективно. То есть фактически люди убивали и умирали — индивидуально, но этот "факт" был закрыт от большинства массовой, безличной формой убийства. Хорошая практика, которую "по инерции" перенесли с немцев на своих же русских, — "...повернем в другую сторону".

Итак, смысл номер один ясен, как Божий день — победа сил зла над душой отдельного человека. Но этот смысл отражался в умах людей, как глобальная объективность рока. Всю жизнь предчувствовавший и предвещавший революционную катастрофу Блок все ж таки несколько удивился, когда обнаружил, что убивать будут не только шлюху и "буржуя на перекрестке" из "Двенадцати", но и некоторым образом его самого.

Когда Живаго вернулся с фронта в холодную Москву, то ни с кем он так не хотел говорить о "смысле всего", как с Веденяпиным. Но оказалось, что Николай Николаевич весь как-то скис, слинял. Говорил больше по инерции. Что-то получалось "не совсем так". И Живаго, не ждавший революции раньше и не спешивший ее ругать, когда она произошла, стал подозревать, что это с людьми и им самим "что-то не так", а не с революцией. С революцией — все было в "порядке"! Готовность стать палачами или жертвами пряталась за сугробами незабвенных Арбатских переулков. Тогда-то вдруг и оказалось, что доктору с семьей в Москве не прожить — с голоду помрут. Хотя, казалось бы, все тот же "механический" брат Евграф мог бы помочь им прожить, как он "помог" им уехать к черту в пекло, в Сибирь.

Секрет этого житейского парадокса, как и многих других нелепостей романа, в том, что смыслы уже проходили через Живаго. Не отражались, а проходили. Он, испугавшийся за семью, что ее не прокормить, на самом деле испугался той черной силы безличного душегубства, которая шла из Петрограда и Москвы, обгоняя медленно движущиеся поезда на Восток, на Юг, куда угодно. И то, что окружавшими Живаго людьми начало восприниматься, как торжество чужой силы,

сам доктор начал ощущать, как поражение своей. Это и был тот смысл деиндивидуализации, который люди отражали на уровне мировоззрения. Люди, уже отказавшиеся от себя во имя целого и не понимавшие, что это "целое" вошло в пустоту, образовавшуюся в том месте, где погибло их "личное".

Будучи далеко не средним человеком, Живаго не собирался брать на себя ответственность за войну, революцию и гражданскую войну. Объективный смысл событий проходил через него как свидетеля. В происходящем он видел не правоту или справедливость, а истину. Точнее говоря, он свидетельствовал своими глазами, а не зрением других, что ее — нет. А уж где ее нет, там может произойти что угодно. Очень смешно, что первые "тайные" списки "Доктора Живаго" появились в Москве почти одновременно с романом Хемингуэя "По ком звонит колокол", изданным тоже "полутайно", то есть, с грифом "для служебного пользования" и в нумерованном количестве экземпляров.

В обеих книгах герой оказывается среди сражающихся "за свое", но не "его" правое дело. При том, конечно, что у Хемингуэя герой приехал сражаться сам, а пастернаковского героя партизаны украли по дороге от любовницы к жене и "поместили" воевать с белыми. Оба кончили "свою" войну крайними пессимистами. Но у них был совсем разный пессимизм. Джордан смотрел на испанцев, видел жестокость и бессмысленность и... стрелял. Юрий Андреевич смотрел на себя и видел, что на поляне, где идет бой, смысл просто не может присутствовать, и... не стрелял, — то есть, только и выстрелил, чтобы ранить несчастного мальчика и затем его выводить и спасти — и не замечательно ли, что травля Пастернака была открыта в советской прессе полностью процитированной именно этой сценой? И не только истины, но и проблемы такой в том месте уже давно не было. Проблема "испарилась" в первые месяцы после Октября вместе с традиционной русской манерой спора о ней. Но все ж таки Юрий Андреевич еще спорил, когда, подъезжая к своему медвежьему углу, доказывал Самдевятову: "Политика ничего не говорит мне. Я не люблю людей, безразличных к истине". Но, заметь-

те, в живаговском восприятии это не означало, что люди потеряли интерес к истине из-за политики. Скорее, они были безразличны к истине, и оттого она перестала быть с ними.

Но что же, о, Господи, делали они все вокруг Живаго! Почему все их поступки и слова были так бездарно бессмысленны? Зачем добрый и тонкий Николай Николаевич врал самому себе, что кое-как все может наладиться? Отчего обаятельная Лариса, сидя в идиотском сибирском городе, учила марксизм и между двумя пожарами (город горел) убеждала Живаго, что ее муж-садивист — самый честный человек на свете? И какой леший заставлял Самдевятова, образец "бывалого" человека, пороть чушь про "историческую необходимость", когда уже много месяцев подряд единственной необходимостью была "необходимость выжить"? И откуда взялся "социалистический идеализм" командира партизан Ливерия, когда сам он уже давно превратился в истерика и наркомана?

Живаго знал ответы на эти вопросы еще до того, как события и ситуации сами их ему задали. Ложная направленность на будущее, извращенная эсхатология, позднее переименованная в "исторический материализм", — она не просто делала людей невосприимчивыми к истине. Она — соответствовала характеру и масштабу сознания этих людей. Эти люди "смотрели вперед", ибо они не умели или не хотели видеть себя и то, что было "вокруг". "Построение миров, переходные периоды, это их самоцель, — говорил о них Живаго, — ничему другому они не учились, ничего другого они не умеют". И все это — "от отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности. Человек рождается жить, а не готовиться к жизни".

Живаго понял в революции то, чего не решился в ней понять Николай Николаевич, что она реально отвечала умонастроению определенных и очень широких кругов России. Мысли, слова и поступки оставались, по видимости, осмысленными, пока революция не выявила своего объективного. А это случилось почти сразу же, то есть как только вступили в игру ее спонтанные силы. И почти сразу же после революции, точнее, в ходе и развитии гражданской войны, отрицание прежней социальной действительности, прежней культурной

традиции и прежнего образа жизни ("прежний", значит — "существующий"!)) стало превращаться в отрицание человеческого в отдельном человеке. "Человеческие законы цивилизации кончились. В силе были зверские. Человеку снились доисторические сны пещерного века".

Наблюдая картину всеобщего озверения, равно у красных партизан и колчаковцев, Живаго видел "частицы каких-то неведомых, инопланетных существований, по ошибке занесенных на землю", видел "...что-то нездешнее и трансцендентное". Этот смысл "расчеловечения" был Живаго настолько ясен, что ему даже не приходило в голову, скажем, критиковать "новый" общественный строй, новую "систему". Это было бы таким же идиотизмом, как, например, критиковать "систему снабжения" населения хлебом. Ну какая там, к черту, "система", когда хлеба просто нет! И, пробираясь вдоль занесенных снегом вагонов, Юрий Андреевич думал о том, что нормальная жизнь невозможна, ибо людьми не нарушен закон, но они не хотят и стины. Ни палачи, ни их жертвы — им не до нее! Что до немногих затаившихся, то им — страшно, и они закутываются в толщу мыслей и слов, теперь ненужных. "Один раз в жизни он восхищался безоговорочностью этого языка и прямотой этой мысли". Закон можно восстанавливать — жизнь от этого не вернется.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ К МОСКВЕ

Похороны Пастернака были событием, которого не придумаешь. Частичным доказательством этого может служить тот факт, что кто бы об этом ни рассказывал, получается совсем непохоже на рассказ другого. И, может быть, единственным человеком, который мог бы это выдумать, как это было бы на самом деле, был Михаил Афанасьевич Булгаков. Пусть я преувеличиваю, но Булгаков, по-моему, мог выдумать что угодно, и это почти всегда оказывалось правдой. Он был, кроме того что чудный писатель, еще и совершенный артист. Отсюда — престраннейшее обстоятельство — его герои всегда

под светом. Огни рампы в театре, огни люстр в зале, огонь в камине, свет из-под абажура в гостиной. Все, кого он любил, помещались в замкнутом освещенном пространстве, а вокруг — темно. Греза драматурга и актера никогда не оставляла его.

В эти годы "проблема смысла" уже давно исчезла. Люди, заполнявшие зрительный зал Эрмитажа или обеденный Грибоедовского Дома, не были для Булгакова ни людьми света, ни людьми тьмы. Они были отмечены той блеклой межумочностью, которая в случае "высокого культурного уровня" делала их разве что "ярко-серыми" — не более того. В любом случае они не годились для "готического ада" булгаковского воображения (о рае вообще вопрос серьезно не ставился). Сам Мастер был гораздо более сосредоточен на жизни, чем Живаго, хотя его жизнь была бесконечно беднее живаговской, а, может быть, именно по этой причине. Ибо не только смыслы ушли, но и события кончились\*. Это кладет грань между двадцатыми и тридцатыми.

Воланд вводится в Москву как воплощение отрицательной нравственной философии. В этом времени и месте для него нет ни преданных адептов, ни достойных врагов. То есть, там есть, конечно, жители, которых можно было бы по-человечески ненавидеть, но Воланд — не человек. Формально (и по эпиграфу) в Воланде как бы продолжается мифистификация. Но у Мефистофеля гетевского были реальные жертвы и сильные соперники. Воланд же проказничает в "поле недействительности". Это — первый шаг булгаковской интуиции. На фоне непроеходимой недействительности "рыцарь зла" — великолепен (его зло — действительно!). В итоге оказывается, что и Мастер, и Маргарита, как бы это выразиться... не по Воландовой части.

И тогда Булгаков делает второй шаг, открывая нам свою финальную выдумку: "Они не заслужили света. Они заслужили покой". Здесь — ни гетевского "спасена!", ни спора над трупом Фауста. Решение бесспорно: Мастеру и Маргарите от-

\* Отсюда — такое "естественное" и едва заметное в романе событие, как выигранные Мастером деньги (почти как деньги, реально "отмерившие" срок жизни Керкегора!).

ведено "третье место" — покой. Покой грезы. Отдых от мучения, причиняемого недействительностью, ибо она не просто бездушна, а свирепа, садистична. Должны пройти зоны, пока человек отдохнет. Но какой человек? И здесь мы переходим к третьему шагу булгаковской интуиции, к еще одной выдумке, которая-то и возвратит нас опять к Живаго, но фигурирующему уже как бы в другой линии своего существования и мышления.

Булгаков выдумал... психиатрическую больницу. Да еще какую! Ослепительно чистую и с новейшим оборудованием. Почему? Зачем? Но не любопытно ли, что почти все персонажи романа сходят с ума? Некоторые постепенно. Другие сразу. Некоторые на время. Кое-кто до смерти. Но все — по-настоящему, не фигурально. Причина очевидна. Почти всякий человек, живущий во времени и месте, где нет действительности, — потенциально неуравновешен душевно. И достаточно легкого соприкосновения с реальностью смыслов (в данном случае все равно, с реальностью Зла или Добра), чтобы он стал безумным. Так стали безумными Мастер и Маргарита, коснувшись Правды Добра о Христе; Мастер — сам, Маргарита — через ее любовь к Мастеру, а затем через "контакт" с Воландом. Тысячи людей, безумные, бегут из Эрмитажа или поют хором и не могут остановиться. И они фактически — безумны от мгновенной только причастности к веселой воландовской тьме. Мастер и Маргарита просто не могли вынести Света и, уже обезумев, встретились с Воландом (и все это — такая "московская" карусель, совсем не похожая на гофмановскую фантазмагорию!). Так, с театральной незамысловатостью Булгаков придумал этот "механизм" превращения "серого жителя" в человека ценой клинического сумасшествия.

Живаго, как его выдумал Пастернак, был человеком той эпохи, когда "смыслы" еще жили. И даже, когда они отрицались в диком смертоубийстве гражданской войны, там еще было что отрицать и кому отрицать. И даже, когда, сидя в своем варыкинском "сельскохозяйственном" затворничестве, он знал, что смыслы уходят — он знал и другое, гораздо более важное — то, что без них он просто не может жить. Он ведь был приемником смыслов, а потому и

не мог без них жить. А если сказать еще точнее, без них он только и мог что жить. Но в том-то и дело, что Живаго не был "человеком жизни" (как Мастер, при всем его чудачестве), а был "человеком смыслов". Парафразируя самого Пастернака, я бы сказал, что Юрий Андреевич был фатально нетипичен. Лишившись смыслов, он не мог "окунуться" в жизнь, — он мог лишь в нее "провалиться". Итак, его роман с Ларисой — первый "провал" в жизнь, партизанский отряд — второй, женитьба на Марине — третий. Здесь совсем не важно, что он делал сам, а что его заставляли делать внешние события. В нашем сравнении его с Мастером важно, что он не стал безумным. Напротив, по мере того, как уходили смыслы, жизнь осознавалась им все яснее в ее смысловой перспективе. При этом не существенно, понимали ли его другие, или нет\*. Он был достаточно уравновешен, чтобы понимать. Быть же уравновешенным в жизни, не входило ни в его "фатальный тип", ни в авторский замысел, и не потому ли он, вместо того, чтобы как Мастер сидеть в психбольнице, походя пишет о влиянии условий жизни на образование инфарктов? А вообще-то он живет в Москве двадцатых годов, после того, как выбрался из Сибири, — без надежд. Вернее сказать, надежды были, но вялые и не его, а придуманные для него Пастернаком. В те несколько страниц, обнимающих "восемь или девять последних лет его жизни", Пастернак вложил не только эти надежды, но и мечту, тоже вялую, слабую, о культуре и, более того, буквально "заставил" Юрия Андреевича продолжать род, ибо ничто не должно прерываться! Не стоит говорить, что подобный "ход", в случае Булгакова совершенно невозможный, был бы по меньшей мере издевательством над действительно больным Мастером. А все от того, что Живаго был здоров. Всегда здоров, пока не умер. Он знал, что лишь в редких счастливых случаях наблюдателю дано уловить в событиях и страхах действитель-

\* Конечно, Тоня не понимает его, как "человек жизни". Но это русская традиция: все должны понимать друг друга, таков постулат. Лариса вторит ему, но это — жуть как неинтересно. Пастернак был совершенен в своем монологизме. Его герои говорят каждый свое, а думают, что разговаривают друг с другом.

ности симптомы тех Высших Сил, которые, если хотят, то проявляют себя, а не хотят, так проявляют через события свое отсутствие, и попробуй, увидь в этом наказание или надежду!

Книга Булгакова — это последовательность, а не смесь отчаянно безнадежного и безумно смешного. Он бесповоротно чувствовал, что всему уже давно — крышка, хотя надеялся почему-то, что еще попишет и попредставляет. Живаго, напротив, чувствовал, что если даже люди будут писать замечательные стихи или ставить удивительные пьесы, то все равно или, даже — тем более, — крышка, ибо это уже не имеет значения, кто что сделает. Для Булгакова же, как и для самого Пастернака, в отличие от Живаго, во всем этом оставалась еще бездна значения. И оттого вся легендарная история со звонком Сталина Пастернаку насчет Мастера Мандельштама, вне зависимости от того, была ли это правда, или интеллигентская московская "параша", кажется мне собачьей комедией. Комедией, где актеры — люди, с которых уже давно сняли головы, а они хором плачут по волосам и спорят, кто первый\*.

Живаго не воспринимал двадцатых годов Пастернака и Маяковского, Малевича и Мейерхольда\*\*. Он не воспринимал и двадцатых годов расправы с "белой гвардией" и церковь, годов, когда крестьянство начали "подводить" к коллективизации. Он не видел элитных взлетов и массовой деградации.

\* Самое забавное и мрачное в этой легенде то, что в центре ее действительно стоит слово "мастер", применение которого, по крайней мере в современном русском, к поэту или прозаику — претенциозно и случайно. Но ведь сам-то Сталин, реальный или вымышленный, в этой истории был типичным представителем сложившейся в восьмидесятых годах прошлого века русско-кавказской колониальной культуры, в которой подобное выражение звучало вполне адекватно. Об этом свидетельствует очень частое употребление этого слова Гурджиевым (бывшим, по его словам, соучеником и знакомым юного Джугашвили) и его учениками. "Гурджиев был не... просто писателем. У него была другая задача. Гурджиев был Мастер. Само понятие "Мастер", столь близкое Востоку, с трудом воспринимается на Западе". G. Gurdjieff. "Meetings with Remarkable Men", London, 1971, p. X.

\*\* Не странно ли, что, даже размышляя о новом урбанистическом искусстве, вдохновленном Москвой, Живаго вспомнил "о символистах, Блоке, Верхарне, Уитмене", но — ни об одном из современников.

Он видел "середину" того времени в своих старых друзьях, Дудорове и Гордоне, и думал: "Единственное живое и яркое в вас, это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали". Он видел в них будущих булгаковских персонажей, зная, что от кого ушла истина смерти, тот будет обречен на выживание и станет добычей страха смерти. Однако духовный нейтраллизм Юрия Андреевича проявился не только в невосприимчивости им двадцатых. Он не жалел и о девятисотых. Дух "свертывался" слишком быстро, и воскресить его оказалось возможным только в отдельной жизни и в особом месте. Плакать, собственно, было не о чем. Когда Гордон упрекал Живаго за пренебрежение к Марине (третья жена Юрия Андреевича), тот отвечал: "...у меня нет с ними разлада, я не веду войны ни с ними, ни с кем бы то ни было". Это несколько буддистическое высказывание Живаго не означает ни того, что он был в мире с окружающими, ни того, что он не был в мире с самим собой. Ему ни к чему было себя отстаивать. Его опыт лежал вне сферы отношений — как личных, так и социальных. Последние деградировали полностью, тогда как первые в московско-ленинградской действительности тридцатых годов стали заменять собой все остальное. Отсюда — отчаяние любимых героев Булгакова. Они молят и молятся вместе с ним: "Мы согласны на все, но дай же, Господи, дай нам вместе пожить еще немного под нашим абажуром!" Таков был их крик.

## О ВЕЩАХ ПОСТОРОННИХ И ПОЗДНИХ

Написав "эпилог", Пастернак отдал дань жизни — своей собственной и — романа. Но ведь доктор "предупреждал" автора, что без него все остальные действующие лица — ничто. Мало того, что они говорят на каком-то неопишемом полунинтеллигентском волапюке, но они просто не знают, что им говорить. Пастернак, конечно, в этом не виноват: ведь невозможно, чтобы убили или посадили всех, поэтому — кто-то должен был остаться и говорить что-то. И тут обнаруживается

странная вещь. У таких, как Дудоров и Гордон, осталась формальная память. То есть, они помнят слова, имена, встречи, обстоятельства, смерти, но... у них отсутствует опыт. Не какой-то там мистический или духовный, а самый элементарный, жизненный. Он из них исчез, или его в них не было никогда. Циничные молодые люди "нового склада", начавшие появляться в Москве и Ленинграде в конце пятидесятых и завершившиеся в своем "формировании" в шестидесятые, гораздо меньше, несоизмеримо меньше пережили и мало что помнили. Но что они помнили, то помнили крепко. Их скептицизм в отношении всякой социальности, даже духовной, их коренное недоверие к закону и справедливости — если не всегда справедливы, то, во всяком случае, исторически и экзистенциально оправданы.

Современники Живаго по дореволюционной его жизни, те, кто дожил до его смерти и пережил его, жутко боялись социального одиночества, может быть, даже сильнее, чем советской власти и возможной культурной изоляции. И, я думаю, те из них, кто все-таки прочитал "Доктора Живаго" в ранних шестидесятых, не смогли увидеть в самом докторе предвестие одной исключительно важной тенденции — русской или все-ленской — пока трудно судить. Я имею в виду — привыкание людей к такой жизни, где религия будет существовать как форма индивидуального, а не общественного сознания.

Турбины "Белой гвардии" Булгакова верили, точнее, хотели верить, что сохранятся как личности, потому что еще могли смотреть на все происходящее как на стихию. Конечно, в "новых" условиях господства этой стихии их скромный прежний религиозный опыт не мог бы развиваться, то есть его бы не хватило на осознание объективного смысла этой стихии. Но, может быть, его бы хватило на продолжение их нравственного и культурного существования, на — "оборону". Однако Мастер уже не мог верить в такую возможность. Слишком краткий срок был ему дан для его собственной духовной революции, революция настоящая была весьма дальновидна и позаботилась, чтобы у таких, как Мастер, времени было в обрез, счетом на минуты. Пастернак же сумел так "спроектировать", вернее, "ретроектировать" Живаго,

чтобы тот со своей духовной философией одиночки смог бы дать образец индивидуального религиозного опыта в условиях оптимистической "культурной революции" двадцатых годов.

Пастернак сам не был таким в двадцатых, но в своей ретроспекции из пятидесятых он восстановил себя в Живаго таким, как если бы сам он умер в конце двадцатых, не намного пережив доктора.

Тот опыт индивидуального восстановления религиозного сознания, который совершается с пятидесятых годов в России, обрел свое поэтическое начало в Живаго. Пастернак, как личность сугубо монологическая, не был чуток к современности последних лет своей жизни. В этом уже был залог его свершения. В результате чуткости может появиться разве что "Оттепель" Эренбурга\*. Но как раз своей нечуткостью он оказался современен тому, что должно было произойти в духе времени и в душах людей.

---

\* Я этим не принимаю "Оттепель". Просто ее автору было не к чему возвращаться в своем прошлом, ибо его прошлое не имело своего нравственного содержания, которое потом могло бы быть переосмыслено — переосмысливается только свое.

*В этом и следующем номерах мы публикуем воспоминания бывшего советского адвоката Фаины Баазовой о процессе Рокотова, который проходил в 1961 году в Московском городском суде и вызвал огромный резонанс не только в Советском Союзе, но еще больше — на Западе. Формально обвинение, предъявленное Рокотову и другим подсудимым, не носило политического характера. Они сидели на скамье подсудимых за нарушение правил валютных операций. Однако факты, вскрытые на процессе, закончившемся смертным приговором главным обвиняемым по этому делу, столь ярко характеризовали многие стороны советской действительности, что дело Рокотова, фактически проходившее при закрытых дверях, на какое-то время становится сенсацией номер один на страницах западной печати.*

*Другая причина столь пристального интереса к этому процессу состояла в том, что в этом деле, в нарушение всех правовых и нравственных норм, закону о смертной казни была придана обратная сила. Таким образом это дело еще раз показало, чего стоят советское правосудие и советский гуманизм, о которых и по сей день так много пишется и говорится в СССР.*

*Автор предлагаемой публикации стремится показать процесс Рокотова изнутри, вскрыть многие невидимые пружины этого дела, которые чрезвычайно важны для понимания того, что в действительности произошло в Московском городском суде в начале лета 1961 года.*

Фаина БААЗОВА

## ДЕЛО РОКОТОВА



Летом 1960 года ко мне пришел мой старый знакомый, Яша Паписмедов, и попросил, чтобы я стала его адвокатом в случае, если его привлекут к уголовной ответственности.

Разумеется, тогда ни он, ни я не могли представить себе характер и масштабы дела, в котором он в будущем окажется обвиняемым, а я его защитником.

В этот период, период "гуманизации" советского правосудия, "громкие" дела на практике уже не встречались. Сенсационные политические процессы уже давно отгремели. У нас в Тбилиси последним из этой категории дел был процесс пособников Лаврентия Бери — бывших работников МГБ Грузии — министра Равава, его заместителей — Рухадзе, Хазане и других — обвинителем на этот раз выступал сам Генеральный Прокурор Союза ССР Руденко.

Яша Паписмедов вряд ли мог оказаться причастным к сколь-нибудь громкому делу.

Я знала его очень давно, много лет. Он работал в одной из организаций "Центросоюза", где пользовался доверием и уважением среди всех сотрудников. Человек тихий, глубоко верующий, как и подавляющее большинство грузинских



евреев, он много жертвовал на нужды синагоги, постоянно помогал своим многочисленным родственникам. Он часто приходил ко мне как к своему "фамильному адвокату".

Незадолго до этого я закончила дело его брата, обвинявшегося в совершении сложного запутанного преступления.

Теперь он пришел по вопросу, который касался уже лично его. Он рассказал мне по секрету, что вызван в Прокуратуру Союза в качестве свидетеля по делу его близких знакомых Нади Эдлис и Яна Рокотова.

Вот уже много месяцев как они арестованы в Москве в связи с валютными операциями. Яша сообщил так же, что Надя Эдлис очень часто гостила у них дома в Тбилиси. При этом бывало, что она привозила с собой для продажи царские монеты.

Казалось, он был убежден, что ни Надя Эдлис, ни ее муж, абхазец Сергей Попов, никогда не оговорят его, и все-таки в глубине души допускал, что из свидетеля он может превратиться в обвиняемого, оттого и решил заранее подумать о своей защите.

С профессиональной точки зрения дела о валютных операциях не представляли никакого интереса. Они всегда были небольшими и несложными. До принятия в 1959 году нового уголовного законодательства СССР валютные дела формально регулировались статьей 27 "Положения о государственных преступлениях" от 1927 года, предусматривающей до трех лет лишения свободы. На практике такие дела в суды попадали очень редко. Обычно они разрешались в административном порядке.

Правда, по новому уголовному законодательству наказание за валютные нарушения было значительно усилено. Теперь виновного можно осудить на срок до восьми лет.

Однако, летом 1960 года, когда я впервые услышала о деле Рокотова, еще слишком велико было влияние хрущевской оттепели. Повсюду говорили о преодолении культа личности и его последствий. В широких кругах юристов открыто обвиняли А. Вышинского, игравшего при Сталине роль "теоретической дубинки" и санкционировавшего в качестве Гене-

рального Прокурора нарушения законов и акты произвола.

Теперь снова и снова провозглашаются принципы "незыблемости" закона и справедливости; упраздняются органы, ранее действующие за закрытыми дверями и наделенные правом внесудебной расправы; реабилитируют репрессированных при Сталине; снижается максимальный срок лишения свободы с двадцати пяти лет до пятнадцати, расширяются права защиты и т.д.

В этой ситуации ни я, ни родственники Паписмедова не ощутили особой тревоги от того, что его предчувствия сбылись и что Яша и вызванный в прокуратуру его младший брат Шалва превратились из свидетелей в обвиняемых.

... Шли месяцы. Неоднократно ездившие в Москву наводить справки в КГБ жены братьев Паписмедовых возвращались с одним и тем же неизменным ответом: "следствие продолжается". Пока однажды, в феврале 1961 года, после очередной такой поездки, жена Яши вернулась необычайно встревоженная. В Приемной МГБ ей официально сообщили, что ее мужу предъявлено обвинение, грозящее лишением свободы сроком до пятнадцати лет.

Казалось, меня, адвоката, хорошо знающего grimасы советского правосудия, трудно было чем-то удивить. Тем не менее, сообщение жены моего подзащитного вызвало у меня глубокое недоумение. Ведь принятый всего год назад уголовный закон о валютных нарушениях предусматривал максимальный срок до восьми лет. Абсолютно исключалось обвинение Яши Паписмедова в каком-либо другом преступлении. Нельзя было допустить, что его жена, человек, в общем, довольно толковый и, уж бесспорно, способный в точности передать ответ следователя, что-то напутала. Так что, сколько я ни ломала голову, откуда взялись эти пятнадцать лет, понять не могла.

А еще через месяц, в апреле, мое недоумение уже переросло в тревогу, когда я, опять же через родственников моего подзащитного, получила от московских адвокатов подтверждение, что действительно Яше Паписмедову (как и дру-

гим девяти подсудимым) грозит пятнадцать лет заключения с конфискацией имущества. Будучи занятой в большом процессе в Тбилиси, сама я выехать в Москву для участия в предварительном следствии не могла. Но, помимо воли, начала ощущать, что в этом деле происходит что-то необычное. Но что именно, отгадать было невозможно, сидя в Тбилиси.

Между тем, дело Паписмедова и других назначается к слушанию в Московском городском суде на 27 мая. И 11 мая, закончив, наконец, процесс в Тбилиси, я, вместе с отчаявшейся уже женой моего подзащитного, вылетаю в Москву.

Когда мы приземлились во Внуково, не было еще девяти утра. Я позвонила на работу моему брату Мееру и, сообщив о своем приезде, тотчас же, не теряя времени, поехала прямо на Большую Каланчевку в Московский городской суд.

В канцелярии старший секретарь, прочитав в моем ордере фамилию Паписмедов, как-то смешался и, будто извиняясь, сказал, что дела у него нет и вообще все материалы для ознакомления можно получить только с разрешения председателя Мосгорсуда Громова, который и будет председательствовать на этом процессе.

И это тоже выглядело странно, так как обычные дела всегда находятся в канцелярии, и ими распоряжается старший секретарь суда.

Через несколько минут я уже была в кабинете Громова и предъявила ему свой ордер на защиту.

От меня не ускользнуло, как изменилось его бесстрастное, сухое лицо. Выступившие на нем красные пятна выдавали внутреннюю озабоченность, но, овладев собой, он вежливо произнес:

— Очень сожалею. Но вас побеспокоили напрасно. Паписмедов уже выбрал себе адвоката, который почти две недели знакомится с делом, отстранить его у нас нет оснований.

Только позже я поняла, что тут же высказанный мной, причем очень решительно, протест Громову о нарушении конституционного права подсудимого на защиту, можно было объяснить абсолютным незнанием подоплеку дела. А может быть, у меня, как и у многих в те дни, под влиянием оттепели образовался какой-то запас бесстрашия.

Громов, так или иначе, был смущен. Формально ему нечего было возразить мне. В то же время я почувствовала, что и вопрос о моем допуске к делу не в его компетенции.

В конце концов, он просит меня прийти через три часа. За это время, по его словам, он выяснит "мнение подсудимого" о возможности замены защиты.

Но я уже начинаю понимать, что вопрос о моем участии в деле будет решать отнюдь не Яша Паписмедов — кто-кто, а он первый, узнав о моем приезде, будет решительно возражать против навязанной ему следствием защиты. Так же, как я уже понимаю, что в суде по этому делу хозяином будет не суд, и Громову необходимо согласовать там, где следует, мое участие в процессе.

В те три часа, которые я отсутствую, обо мне запрашивают Грузинский КГБ. Впрочем, знаю, что в Грузии, после полной реабилитации членов нашей семьи — отца и трех братьев, — во всех официальных инстанциях ко мне относятся с горячим, хотя и запоздалым участием. Поэтому там вряд ли ответят "нет". Да и здесь, в Москве, вряд ли пойдут на открытое нарушение права подсудимого на защиту, о котором сейчас так много говорят.

Поэтому я не удивилась, когда спустя три часа Громов, уже вне всякой связи с нашим утренним разговором, протянул мне отпечатанное и оформленное разрешение на свидание с Паписмедовым:

— Сегодня повидаетесь с заключенным, — все так же сухо сказал он, — а завтра с утра прошу приступить к ознакомлению с материалами дела.

Взяв разрешение, я направилась к выходу, и тут Громов неожиданно спросил меня:

— Да, кстати, где вы остановились?

Я ответила, что у меня здесь брат и пока я остановилась у него. Но вообще собираюсь устроиться в гостинице.

— Это будет удобнее. Оставьте ваш паспорт. Постараемся забронировать вам место в гостинице на все время процесса.

Я снова в недоумении. Судьи никогда не проявляли особой заботы по отношению к нам, адвокатам. Тем более

такой заботы не приходилось ждать от этого, без единой крошки в лице, чем-то напоминающего мумию Громова.

И все же тогда я еще находилась в блаженном неведении относительно истинного характера дела, в котором мне пришлось принять участие.

Как только у входа в здание КГБ на Лубянке я сдаю полученный в приемной пропуск и в сопровождении офицера начинаю подниматься по лестнице, я вдруг чувствую странное раздвоение. Словно некто другой выключает во мне адвоката, идущего на свидание к своему подзащитному и мысленно целиком занятого его делом. И этот другой с необычайной остротой чувствует шаги моего старшего брата Герцеля, которого в ту далекую ночь с 25 на 26 апреля 1938 года привезли сюда из гостиницы "Москва" и водили по этим лестницам и коридорам. С трепетом пытаюсь я, или мой двойник, отгадать, что переживал Герцель. Чувствовал ли он тогда, проходя по этим лестницам, что идет навстречу смерти и что он уже начал отшагивать последние шаги своей недолгой жизни.

Вежливое приветствие вышедшего навстречу мне ответственного чина возвращает к реальности. И я предъявляю ордер на защиту.

В большом пустом кабинете ждать приходится недолго. Примерно минут через двадцать дверь бесшумно открывается, и как "свободный" человек, без охраны, в комнату входит Яша Паписмедов.

Увидев меня, он начал безудержно рыдать. Я не стала его останавливать. Кто знает, что пришлось ему пережить в этом гигантском каземате в течение целого года. И, может быть, прорвавшийся поток слез при первой встрече с человеком, пришедшим из знакомого и близкого ему мира, принесет ему какое-то облегчение.

Немного успокоившись, он начал глазами и руками показывать на телефоны вокруг, давая понять, что разговаривать опасно. Он был до такой степени напуган, что вести с ним беседу по делу было невозможно, тем более в условиях, когда я была совершенно не знакома с материалами. Я ему сказала,

что пришла сегодня лишь затем, чтобы уточнить копию обвинительного заключения и сообщить, что дома все в порядке. Он на миг успокоился и зарыдал снова.

Его предупредили, что он идет на свидание с адвокатом и может взять с собой обвинительное заключение. Это был большой толстый том. Как мы обычно и поступаем в уголовных делах, я взяла у него обвинительное заключение. Будучи под рукой, оно всегда облегчает изучение материалов и дает возможность сэкономить время.

Окончив разговор с Паписмедовым, я по телефону сообщила дежурному, что заключенный "свободен".

Почти у самого выхода из здания я остановилась и заявила сопровождающему меня офицеру:

— Ставлю вас в известность, что я взяла копию обвинительного заключения у своего подзащитного.

Многолетний профессиональный опыт (или какое-то острое чутье) подсказали, что заявить об этом надо, хотя по закону я имела полное право взять у подзащитного обвинительное заключение, не уведомляя об этом ни следствие, ни суд.

— Да, конечно. Это ваше право, — ответил офицер очень любезно и быстро добавил, — но все же скажем об этом генералу.

Он быстро снимает трубку и кому-то докладывает, что адвокат намерен взять с собой обвинительное заключение. И, обращая ко мне со словами: "Генерал желает говорить с вами", — передает мне трубку.

На другом конце провода генерал, которого я никогда не видела и фамилию которого не знала, приятным басом говорит:

— Приветствую вас, Фаина Давидовна! Как долетели? Как самочувствие? Взяли обвинительное заключение? Ну, конечно, это ваше право. Но, знаете, мы решили не выносить его пока отсюда. Получите его в суде, хорошо? Договорились?

Когда на второй день, рано утром, я пришла в Мосгорсуд, почти все участвовавшие в деле адвокаты были в сборе. Многие из них познакомились с делом еще на стадии предва-

рительного следствия. Но, узнав о моем приезде, пришли повидаться со мной, заодно и помочь мне освоить огромное количество материалов. Времени до начала суда у меня оставалось очень мало.

Собравшиеся в специально отведенной комнате адвокаты были очень разные люди: пожилой Городецкий, защищавший мужа Нади Эдлис, абхазца Сергея Попова, был "молодым" адвокатом. Уже в чине полковника, в период "дела врачей", его освободили из органов КГБ как еврея, и он был вынужден поступить в адвокатуру. Замечательный юрист и обаятельный человек Владимир Шафир, защищавший свою близкую знакомую Надю Эдлис, в адвокатуру пришел тоже после того, как его в начале пятидесятых годов уволили из Прокуратуры Ленинградского военного округа. Не смог удержаться на прокурорском месте в одном из районов Москвы и безрукий Саша Клибанер. Руку он потерял во время войны в битве за Москву, однако в разгар кампании против "космополитов" был уволен.

Адвокатами "чистой крови", как называли у нас адвокатов, никогда не работавших в судебно-следственных органах, кроме меня, был спокойный и умный В. Хейфец; способный, блестящий, но не в меру самоуверенный Владимир Швейский, а так же защитник брата моего подзащитного и самый молодой из нас — Дмитрий Левинсон. Все они были озабочены и растеряны.

С первой же минуты настоятельно советуют мне "быть осторожней". Я по-прежнему еще не знаю особенности этого дела, как и не знаю обстановки, царящей здесь, в Москве, я всех их называю малодушными, на что Саша Клибанер, ехидно улыбаясь, говорит:

— Возьми шестой том, раскрой лист дела такой-то и тогда поймешь, что происходит.

Я подошла к разложенным на столе толстым томам и в самом первом из них, на первой странице, прочла: "с е р е т н о".

В шестом томе, на указанном листе, на государственной гербовой бумаге красовался подлинник Указа Президиума

Верховного Совета СССР за подписью Леонида Брежнева (тогдашнего председателя Президиума Верховного Совета СССР). Этим актом судебно-следственным органам было разрешено, в виде исключения, применить в отношении обвиняемых Рокотова, Файбишенко, Эдлис и других принятый в марте 1961 года Указ, по которому наказание за нарушение правил о валютных операциях повышалось до пятнадцати лет лишения свободы.

Этот закон был издан всего полтора месяца назад, то есть спустя почти полтора года после ареста Рокотова и других. Он грозил им значительно более суровым наказанием, чем тот, что действовал в момент совершения ими преступления.

А ведь всего два года назад с исключительной торжественностью было принято Уголовное законодательство СССР: статья 6 в нем черным по белому устанавливала, что "преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Закон, установленный после совершения преступления, не имеет обратной силы".

Почти в самый разгар грандиозной кампании по "укреплению советской законности" произошло это открытое и беззащитное поругание человеческого права, которое с древних времен у всех народов носило такой естественный и незыблемый характер, — права человека знать, что угрожает ему за совершение того или иного преступного деяния.

Теперь уже мне была понятна атмосфера, царящая вокруг этого дела. Ведь для проведения такого необычного спектакля, каким было (впервые в истории советского права) придание закону обратной силы, требовался соответствующий сценарий, режиссура, исполнители и... специальный зритель...

Когда я спросила у своих товарищей, какую позицию во время защиты они намерены занять, единственный, кто ответил, был Саша Клибанер.

— О какой позиции можно говорить? В этом тридцатитомном деле никто, кроме Файбишенко, ничего не оспаривает. Но Файбишенко отказался от защиты, и в деле не будет его адвоката. Остальные не только полностью признают себя виновны-

ми, но еще и упорно стремятся к саморазоблачению и оговору друг друга, просто с каким-то рвением благодарят следователей КГБ за "спасение" и своевременное пресечение их преступной деятельности.

Они все сходятся на том, что невозможно оспаривать квалификацию деяния. В таком случае защите придется доказывать противозаконность применения к подсудимым закона об обратной силе, то есть вступить в открытую борьбу с Указом Президиума Верховного Совета СССР. А кто решится на это безумие? Если и найдется такой трагикомичный Дон Кихот, то все равно из этого ничего не выйдет. Он просто тихо исчезнет, а "дело пойдет делом", и "суд — по форме".

И не только от самого дела оставалось тягостное впечатление, но и от того, как часто мы ничего не знаем о тех событиях в нашей жизни, которые совершаются вокруг нас и почти на наших глазах. И действительно, мало кто знал правду о том, что происходило в Москве в 1957 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов и к каким последствиям он привел, когда впервые так широко открылись двери Советского Союза и впервые так близко встретились советская и западная молодежь. Именно на этом фестивале многие из тех, кого называли советской молодежью, не только делились здесь своими идеями с западными гостями, но и получили возможность без привычного страха покупать и обменивать в прошлом недоступные для них заграничные вещи. Это была какая-то жажда, какая-то охватившая многих страсть ко всему заграничному. (Разумеется, ни на следствии, ни на суде никого не интересовали социальные корни происшедшего).

Для приобретения заграничных вещей нужно было иметь иностранную валюту. Так появились в Москве "фарцовщики", которые сотнями и тысячами рыскали на улице Горького, возле ГУМа, в ресторанах, кафе, везде, где можно было встретить иностранцев и приобрести у них валюту и заграничные вещи.

Из материалов дела узнаем и то, что в этот же период наши "друзья", арабские офицеры, учившиеся в высших военных школах в Москве, контрабандой привозили и наводняли

Москву изготовленными в Цюрихе золотыми монетами "царской чеканки". Монеты они провозили в широких военных поясах. В деле было много фотографий арабских офицеров, снабжавших московских "фарцовщиков" золотыми монетами. На фотографиях были отчетливо видны эти широкие пояса, надетые поверх военной формы.

И ни один из этих сотен арабских офицеров, совершивших, может быть, тысячи валютных сделок в Москве, не только не привлекался к уголовной ответственности, но и не проходил свидетелем по делу.

Даже поверхностная оценка следственных материалов не могла избавить от впечатления, что авторы этого дела при оценке одних и тех же деяний пользовались двумя различными мерками. И, в зависимости от национального происхождения совершившего преступление, применяли то одну, то другую мерку.

Такой вывод напрашивался потому, что из девяти подсудимых, проходивших по этому главному делу — семь были евреи, а в дочерних делах, возбужденных в Тбилиси, Баку, Ташкенте, Риге, Вильнюсе, Киеве, евреи составляли 90 процентов. Из тех же материалов было видно, что следствие, из гуманных соображений закрыло дело в отношении большого количества русских молодых парней, которые много лет занимались скупкой и перепродажей иностранной валюты в масштабах ничуть не меньших, чем это делал Файбишенко.

Следствие решило так же не возбуждать дела в отношении десятков лиц, уличенных в совершении крупных валютных сделок. Все они отделались "искренним" признанием и "глубоким раскаянием". Среди фамилий этой категории еврейские почти не встречаются.

Решение о применении в этом деле обратной силы закона нигде не было обнародовано, и в само "дело" оно было подложено тайком, как бомба замедленного действия. И в предвидении взрывной волны от действия этой бомбы (в особенности за пределами Союза) вокруг обвиняемых создавалась зловещая атмосфера.

За несколько дней до начала процесса, одновременно во всех центральных и республиканских газетах, появились одинаковые по тону и характеру статьи. Видные журналисты и писатели в этих статьях изображали подсудимых как "врагов народа", как "хищников", как "рабов желтого дьявола", которые нанесли большой вред экономической мощи Советского Союза и толкнули молодежь на путь преступления. Статьи эти явно были нацелены на то, чтобы вызывать у "простых советских людей" омерзение и гнев против подсудимых.

И действительно, под влиянием сокрушительного шквала огня, направленного газетами против обвиняемых, "простой советский гражданин" пришел в суд, преисполненный гнева и возмущения, пришел полный решимости тут же, без всякого суда, публично линчевать подсудимых.

Да и всем нам в день начала процесса, когда рано утром мы пришли в Мосгорсуд, стало ясно, что командовать парадом здесь будет отнюдь не председатель суда и официально председательствующий на процессе Громов. Он сидел у себя в кабинете и ни во что не вмешивался. Почти открыто этим делом занимались или, вернее, хозяйничали, как у себя дома, переодетые в штатское работники КГБ. Они занимались не только техническим оснащением процесса, но и зачастую решали вопросы, отнесенные исключительно к прерогативе суда. Именно они заставили Громова пойти на грубейшее процессуальное нарушение и отказать адвокатам в выдаче копии обвинительного заключения. Не кто иной, как сотрудники КГБ, организовали посещение судебных заседаний представителями московских предприятий и учреждений по специальным пропускам. Они же обеспечили и нужных обвинению свидетелей. Впрочем, это ничуть не мешало позаботиться об удобствах адвокатов и относиться к нам очень корректно.

Кроме микрофонов и установок для телевидения, в зале судебного заседания появляются толстые электропровода, назначение которых нам совершенно не известно. Но ясно, что они будут создавать нам много неудобств.

За исключением защитника Рокотова, адвоката Ивана Рогова, который назначен следствием в казенном порядке и старается держаться подальше, всех нас очень волнует судьба Файбишенко. Он единственный из обвиняемых, который, по существу, не дал никакого показания на следствии. Его отец пригласил для защиты сына близкую к их семье адвоката Марию Сергеевну Благоволину. Она член Президиума Московской Коллегии защитников. Опытный адвокат. Добрый и сердечный человек. Но на свидании с ней, еще во время предварительного следствия, Файбишенко категорически отказался от защиты. По нашей настоятельной просьбе, Благоволина перед началом процесса посетила Файбишенко и пыталась уговорить его согласиться на защиту. Со свидания она вернулась взволнованная и расстроенная. Ей так и не удалось уговорить Файбишенко изменить решение.

— Дорогая Мария Сергеевна, — сказал он ей, — вы все равно не сможете защитить меня, а себя поставите в очень трудное положение.

По-видимому, Файбишенко понимал, что защита была действительно в трудном положении. Имея в руках юридические аргументы против примененной следствием квалификации, защита была вынуждена безмолвно обойти этот кардинальный в деле вопрос.

Естественно, внешне все мы старались выглядеть беззаботными, но каждый из нас внутренне был предельно напряжен. Мы великолепно понимали, что в этом спектакле, где каждый шаг участников процесса заранее спланирован составителями сценария, адвокату не будет дозволено внести диссонанс самостоятельными, не созвучными общей оркестровке, действиями.

Лучше всех это настроение, пожалуй, выразил заведующий Московской Городской Коллегией защитников адвокат Самсонов, который перед началом процесса "подбодрил" нас:

— Дети мои! В этом деле вы никого не сможете защитить. Так что защищайте лучше сами себя.

Вот в этой обстановке мы и старались делать "веселую

мину”, когда звонок оповестил о выходе суда и нас пригласили войти в зал судебного заседания.

В зал вводят подсудимых. Поражает враждебность, с какой их встречает приглашенная сюда и специально подобранная публика. За многие годы моей адвокатской деятельности в Грузии (да и в Ленинграде) мне ни разу не приходилось видеть такую ненависть к подсудимым со стороны людей, лично не заинтересованных в исходе дела. Будто и в самом деле перед ними появились не обыкновенные, такие же, как они, люди, а какие-то опасные хищники, которых следовало уничтожить без суда и следствия. Но еще больше, чем реакция зала, меня поразило поведение председательствующего Громова и прокурора Г. Терехова. Они спокойно дали разбушевавшемуся залу излить свой гнев, без всякой попытки прекратить эту истерию. Я поняла, что публика в нашем деле, словно хор в древнегреческой драме, будет сопровождать весь этот спектакль процесса в роли “выразителя всенародного гнева”.

Между тем, в зал ввели и посадили за барьер на скамью подсудимых совершенно обыкновенных людей: Рокотов, как и остальные, чисто выбрит, в сером костюме. Он небольшого роста, с маленькими серыми глазами и острым носом. Он сидит спокойно, как отрешенный, ни на кого не смотрит, никого в зале не ищет. Да и нет у него тут близких. Рядом сажают Надю Эдлис. Красивая молодая брюнетка, элегантно одетая, с высокой, красиво уложенной, прической роскошных черных волос. За ней входит молодой, голубоглазый Файбишенко. Он оглядывает зал с большим любопытством.

Во втором ряду барьера сажают остальных. Это — грузинские евреи братья Паписмедовы, которые, заметив среди присутствующих в зале своих жен, начинают тихо плакать. Лагун, кандидат технических наук, обыкновенный советский интеллигент. Бедная Ризванова — простая, серая женщина, очень далекая от того страшного облика, в каком ее представляют газеты.

Кто-то вдруг очень “по-домашнему” приветствует меня

на чистом грузинском языке. Это Сергей Попов, муж Нади Эдлис. Предки его приехали из России и поселились в Абхазии; сам Сергей родился и жил в Сухуми, его трудно отличить от грузина-абхазца. Попов — музыкант и в Сухуми считался популярным эстрадным актером. Его сажают отдельно, вдали от подсудимых, даже от жены — Нади Эдлис. В отличие от остальных обвиняемых, настроение у него бодрое.

Нам уже известно, что Попов помог следствию и тем заслужил к себе особое отношение. Для облегчения собственной участи он оговорил даже собственную жену. На процессе, вероятно, для него создадут особый статус. Хотя по степени тяжести обвинения он должен идти вторым после Рокотова, но все мы уверены, что к нему будет применена другая мерка.

Уже с первой минуты после открытия заседания не перестают щелкать кинокамеры. Ходят слухи, что будет снят весь процесс, а по окончании дела фильм покажут по московскому телевидению, и одновременно он будет демонстрироваться в ряде московских кинотеатров.

Наконец, председательствующий начинает читать обвинительное заключение. В это время стороны не вправе покинуть зал, и мы обязаны сидеть в течение многих часов и еще раз слушать то, что знакомо нам в мельчайших подробностях. Если возникают вопросы, объясняемса между собой шепотом под звуки кинокамер.

Но вскоре понимаем, насколько это неосмотрительно — перешептываться в переплетенном проволоками зале. На второй день, во время перерыва, к нам подошел прокурор Терехов. С большинством участвующих в деле адвокатов он хорошо знаком. Я же встретила с ним впервые.

— Приветствую представительницу солнечной Грузии.

Он берет меня под руку и всех нас приглашает в буфет.

Приземистый и широкоплечий, Терехов немного грузен. Он хорошо воспитан, исключительно вежлив, с приятными манерами.

По дороге мы разговаривали на посторонние темы. Вдруг он остановился и говорит мне:

— Вы представляете! Вчера Шелепин упрекнул меня, что мои ребята очень шумят, переговариваются между собой и мешают ему смотреть и слушать процесс.

Что это? Почему он вдруг дает понять нам, что Шелепин — председатель КГБ, сидит у себя в кабинете и с помощью особого телевизионного экрана видит наш процесс и слышит каждый наш вздох? Если Шелепин слушает, как перешептываются "его ребята" — группа прокуроров, которые сидят позади Терехова и помогают ему, так, вероятно, слушает и нас. Сомнения не было. Терехов просто предупредил нас. После этого в течение всего длительного процесса мы разговаривали между собой записками, которые тут же рвали и клочки бросали в портфели.

Допрос главного обвиняемого — Яна Рокотова — продолжался два дня.

Удивительным и совершенно непонятым было отсутствие в его показаниях какой-либо заинтересованности. Обычно, даже полностью "раскаявшийся" и "чистосердечно признающийся" обвиняемый, давая показания, подсознательно, помимо своей воли, старается где-то что-то скрыть, где-то что-то смягчить. Рокотов рассказывает о своей "деятельности" так, что, кажется, он бесстрастно читает написанную кем-то чужую биографию.

Опустив руки по швам, он говорит в микрофон, ни на кого не глядя.

Он не спорит с обвинением ни в целом, ни по отдельным эпизодам. Он не защищается и ничего не опровергает. Он рассказывает или отвечает на вопросы без малейшего желания выгородить себя. И если он иногда относительно каких-то эпизодов говорит, что не помнит времени, места или количества совершенных сделок, то с ним никто не спорит. Всем ясно, что он говорит правду. Он не щадит себя, не щадит соучастников своих деяний, хотя нет и тени злобы или какого-либо расчета по отношению к кому бы то ни было из них.

Для всех очевидно, что Рокотов — человек исключительно больших способностей и большого ума, человек, который смог создать в самом центре Москвы — цитадели советского

режима — "мозговой центр", откуда по всем республикам разветвлялась хорошо налаженная сложная система купли-продажи иностранной валюты и золотых монет. Вряд ли он строил иллюзии относительно того, что будет осужден ниже чем на максимальный срок, предусмотренный новым законом.

Поэтому невозможно было понять, откуда эта холодная, лишенная всякого волнения или какого-нибудь умысла, готовность отвечать ясно и просто, подробно рассказывать о всех совершенных деяниях.

Лишь один раз, помнится, за все время продолжительного процесса вышел он из этого странно сосредоточенного и безучастного состояния. Когда прокурор Терехов как-то стал не без ехидства расспрашивать, почему он, заработав уже огромное состояние, все еще продолжал совершать незаконные сделки. Рокотов сказал:

— Я создал машину, которая стала сама хозяином в стране и остановить которую я уже не мог.

Он вдруг повернулся лицом к сидящим в первых рядах работникам ОБХС и, похоже, даже с внутренним волнением бросил им:

— Вы ведь хорошо знали все, чем я занимался в течение трех лет. Почему не пришли мне на помощь вовремя? Почему не помогли пресечь то, что я уже не в силах был приостановить?

В эту минуту Рокотов был совершенно неузнаваем. Глаза его отдавали странным блеском. Но сразу же в нем все погасло. Он снова стал серым, безучастным ко всему происходящему вокруг, и тихо сел.

На какой-то миг в зале воцарилась глубокая тишина, когда, казалось, всеми овладела одна мысль, но высказать которую никто не смел.

И, в самом деле, как могло случиться, что в самом центре Москвы, на улице Горького, в условиях нашего режима, он годами встречался с арабскими офицерами и другими иностранцами, с которыми систематически совершал валютные



сделки? Как мог пройти незамеченным годами такой широкий образ жизни Рокотова, когда он, по собственному усмотрению, мог открывать и закрывать известный грузинский ресторан "Арагви" в самом центре Москвы и там, среди пьяного веселья, совершать валютные сделки?

На эти вопросы наложено "табу", и их на процессе обсуждать не будут. Ответ на эти вопросы вы могли лишь услышать в кулуарах процесса во время перерыва, где шепотом передаются истинные факты, которые, однако, никогда не станут юридическими фактами. Там вы могли услышать, что начальник московского ОБХС годами получал от Рокотова 70 тысяч рублей в месяц. Но теперь за действия или бездействия начальника ОБХС, "легализовавшего" в свое время правонарушения Рокотова, отвечать будет только Рокотов.

Там же вы могли услышать и настоящую, в корне отличную от той, что живописали газеты, биографию Яна Рокотова. Настоящая фамилия его вовсе не Рокотов. В 1937 году, когда ему было семь лет, арестовали и расстреляли его родителей, одних из самых первых и страстных революционеров большевиков-евреев. Отец был редактором толстого политического журнала, органа ВКП(б). Брошенного на произвол судьбы ребенка взяла на воспитание приехавшая с Украины сестра его матери, которая была замужем за неким Рокотовым. Последний усыновил ребенка и дал ему свою фамилию — Рокотов.

Помня трагедию родителей, Рокотов рос угрюмым и замкнутым и явно не хотел замечать окружающей его "счастливой жизни".

В 1948 году, по решению Особого Совещания, его, еще школьника, несовершеннолетнего, без всякого дела сослали в лагерь на восемь лет. Там он сошелся с другим подсудимым по данному делу — Лагуном, который, подобно Рокотову, отнюдь не чувствовал себя 'счастливым' советским гражданином.

После смерти Сталина, в период "оттепели", Рокотова освободили. Но жизнь была уже сломлена. Годы учебы он провел в лагере. Одаренный природным умом и способностями,

ми, обладающий к тому же неисчерпаемой энергией, он вернулся из лагеря к свободной жизни без законченного образования, без профессии, одинокий, не имеющий никакой твердой почвы.

Именно в этот период ему довелось близко увидеть Запад на проходящем в Москве Международном фестивале молодежи. Он проникся неудержимым стремлением к свободной жизни и поставил себе целью, как следует заработав, вырваться из Союза.

Он почти достиг своей цели. Он накопил большое состояние в результате валютных сделок с иностранцами и собирался бежать через Крым за границу. Но в последнюю минуту мечты его рухнули. Его арестовали. Потом он узнал, что его подруга, Татьяна Усинова, которая была и соучастницей его правонарушений и пользовалась всеми благами их совместной "деятельности", изменила его маршрут — вместо Запада он попал на Лубянку. А теперь он сидел покинутый всеми, одинокий.

Его настоящее было мрачно. Из прошлого на него смотрели тяжелые детские и юношеские годы. Заглядывать в безнадёжное будущее было еще страшнее. Он знал, что ему придется отсидеть пятнадцать лет — от звонка до звонка.

...В зале судебного заседания меняются люди. Каждый день со специальными пропусками приходят все новые и новые "представители общественности". Но не меняется на их лицах выражение ненависти к "хищникам и врагам Родины". Подстрекательские статьи спецкорреспондентов "Из зала суда", приходят они, чтобы продемонстрировать свой советский патриотизм.

В этом отношении наиболее заманчивой мишенью, в особенности для женского состава зала, была Надя Эдлис. Всё в ней вызывало раздражение у "простых женщин". И изящные, со вкусом пошитые платья, и красивая пышная причёска, и вся ее высокая и статная фигура, которая, казалось, упорно не желает согнуться, несмотря на обрушившиеся тяжелые удары. Эдлис стояла перед судом в ожидании сурового, несправедливого приговора, — несправедливого потому, что в момент совершения своих правонарушений она не знала о грозящей каре.

И теперь, глядя на нее, поневоле поражаешься, насколько жестоким и безжалостным может быть "горячий советский патриотизм". Ведь Эдлис не представляла собой никакой опасности.

Одинокая, после крушения в личной жизни, стояла она перед враждебными и полными ненависти людьми.

Вглядываясь в зал, она не находит там знакомых. Брат ее погиб на войне. Отец, после ее ареста, умер, разбитый параличом. Не смогла прийти в суд и тяжелобольная мать. В двух шагах от нее сидит подсудимый Сергей Попов, с которым она незадолго до ареста связала свою жизнь. Человек, который был правой рукой во всех сложных операциях подсудимого Рокотова и который по-хозяйски распоряжался на квартире Эдлис, — сюда он приводил арабских офицеров и других иностранцев для совершения валютных сделок, — Попов постарался выплыть во время следствия на поверхность, утопив при этом Эдлис.

Она великолепно знает, что, хотя формально Попову и предъявлено одинаковое с ней обвинение, для него уже заготовлен выход, через который он невредимый уйдет из этого дела. Судя по всему, Попов не последует за ней в закрытую тюрьму, в которой, по всей вероятности, она должна будет отбывать первые годы своего длительного срока.

Несколько платьев — это то, что осталось у нее. На все ее семейное имущество, естественно, наложен арест.

Но вряд ли кто-то может уловить безнадежность в ее неподвижном сосредоточенном взгляде. Она смотрит в упор в зал, из которого то и дело раздаются выкрики: "Еще суд над ней. И так все ясно: в Москву-реку!"

Временами волну гнева зал обрушивает на нас, адвокатов. Особенно скверно приходится адвокату Шафиру, школьному товарищу и защитнику Эдлис. Ему буквально не дают говорить, и часто под несмолкаемый грохот и угрозы он вынужден отставлять микрофон и прерывать следствие. Правда, председательствующий Громов или прокурор Терехов порой призывают публику к порядку. Но не трудно понять, что зал хорошо понимает, как следует вести себя.

На фоне кающихся подсудимых особенно выделяется В. Файбишенко. На предварительном следствии, по существу, он не дал показаний. И не приходится говорить о каком либо признании с его стороны. Он предан суду на основании оговора сообвиняемых, а также лиц, совместно с ним совершавших валютные сделки, но по делу проходящих лишь в качестве свидетелей.

Все его поведение на следствии — это выражение протеста. На всем протяжении длительного расследования дела идет глухой поединок между одиноким, всеми брошенным обвиняемым и всемогущим КГБ. От него добиваются признания в предъявленном обвинении. Он же требует "равенства перед законом", то есть такого же, как к нему, отношения к лицам, виновным в большей степени, чем он, но обласканным, опекаемым и оставленным следствием на свободе.

Лишенный реальных возможностей отстаивать справедливость и свои законные интересы Файбишенко, говорят, прибегал к самым нелепым формам выражения своего протеста. Так, например, уже порядочно измотанным следователям, которые долго не могли добиться от него ни слова, он вдруг заявил, что решил, "наконец, дать искренние показания".

Казалось достигшие цели, они тут же располагались целой группой, чтобы начать допрашивать этого "подонка", который много месяцев портит им кровь. Между тем, приведенный из камеры Файбишенко, выкурив сигарету в обществе уже готовых записывать показания следователей, неожиданно заявляет: "Я передумал. Сегодня у меня нет настроения"...

Отказавшись от адвоката, Файбишенко на суде сам ведет свою защиту. Он знает все детали дела. У него изумительная память; он приводит наизусть, притом совершенно точно, показания свидетелей, содержание документов и других следственных материалов. Он сопоставляет, сравнивает и анализирует противоречивый обвинительный материал. Poleмизирует с прокурором, с председательствующим. Его реплики часто ставят и того и другого в тупик. В такие моменты он поворачивается к нам улыбаясь и ждет от нас одобрения.

Вообще, с самого начала процесса между защитниками и подсудимым Файбишенко установилась невидимая связь. Каждый из нас, кроме Ивана Рогова, косвенно, а часто и прямо защищал не имеющего адвоката Файбишенко.

На суде Файбишенко ведет себя как человек, которому нечего терять. Он великолепно знает, что пощады ему ждать не приходится, и он не старается заслужить милость у суда. Он открыто и безбоязненно срывает маску с "исправившихся" свидетелей. Эти свидетели — десятки проходящих на процессе молодых людей, которые на протяжении трех лет вместе с ним занимались перепродажей валюты, а сегодня под покровительством КГБ стали "честными гражданами" и "преданными родине патриотами".

Наиболее характерным примером тут является свидетель Дубченко. Он, вместе с Файбишенко встречался с иностранцами, бывал в Американском посольстве, заключал множество валютных сделок, а сегодня, на суде, обрушивается на него, характеризуя его как "неисправимого подонка", "чуждого советскому строю элемента", и "врага Советской власти".

— Ты лучше расскажи о себе, — бросает ему Файбишенко. — Ты расскажи, куда ты спрятал все, что накопил за годы своей спекулятивной деятельности. — И Файбишенко рассказывает правду о его совместной с Сергеем Дубченко "работе". И все явственнее проглядывает применяемая к обвиняемым почти не замаскированная двойная мерка.

На помощь публично разоблаченному свидетелю Дубченко спешит публика в зале. Иные буквально захлебываются в своей злобе к Файбишенко:

— К стенке его, к стенке!

А "исправившегося" свидетеля Дубченко награждают овациями.

Файбишенко спокойно анализирует показания некоторых своих бывших товарищей и соучастников о его, якобы, антисоветских высказываниях в иностранных посольствах, и когда он пытается показать всю их несостоятельность, председательствующий Громов обрывает его на полуслове и говорит:

— Мы судим вас не за политику, а за валюту.

Файбишенко тут же в ответ бросает:

— Я знаю. Судите меня вы за валюту, но осудите за политику. Вернее, за мои национальные настроения. Я не против советской власти. Я только не согласен с ней в национальном вопросе...

Но тут Громов грубо обрывает его и поспешно объявляет перерыв.

На какое-то мгновение Файбишенко раскрывает кавычки своего обвинения. Он показывает, что содеянное им равно тому, что сделали другие, а в ряде случаев он даже отстал от своих русских товарищей, которые не преданы суду из "гуманных соображений".

Не потому ли журналисты наперебой спешат убедить читателя, что Файбишенко "пустой, необразованный пижон, который даже не помнит, когда он прочел последнюю книгу".

Разумеется, слова Файбишенко в протоколе судебного следствия не зафиксированы. Его выступление слышали только участники процесса, а сам Файбишенко давно уже мертв. И пишу я о нем лишь для того, чтобы лучше восстановить картину судебной расправы над этим еврейским парнем.

В зале присутствовал его отец, перенесший после ареста сына тяжелый инфаркт. Поседевший за эти месяцы, он молча слушает сына, его пагубные публичные признания. Но ни разу не пытается удержать его. Он часто крутится возле нас, смотрит каждому из нас в глаза в надежде, что, авось, кто-нибудь скажет что-либо утешительное о будущей судьбе сына. Но что мы можем сказать?

Мы не ошиблись в своих предположениях относительно подсудимого Попова. В то утро, когда намечался допрос Попова, его в числе остальных заключенных в суд не доставили. Открывая заседание, председательствующий Громов сообщил нам, что у Попова ночью случился сильный приступ аппендицита и его пришлось срочно уложить в больницу. Он зачитал заключение тюремных врачей о необходимости срочно оперировать Попова и добавил, что сейчас, по полученным судом сведениям, он лежит на операционном столе.

Громов попросил стороны высказать мнение о возможности слушания дела в отсутствие подсудимого Попова — одного из главных обвиняемых по делу.

Прокурор Терехов высказался за продолжение процесса, дело в отношении Попова он просил выделить в отдельное производство.

Мы великолепно понимали, что "неожиданный" приступ у Попова был заранее запланирован. Возражать было бессмысленно, поэтому защита присоединилась к ходатайству прокурора о продолжении судебного следствия.

*(Окончание в следующем номере)*

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"  
"LAPENSEE RUSSE"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

*"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиачтой.  
Распространитель: "Атлас", ул. Членов, 49, Тель-Авив.  
Цена в розничной продаже - 3.5 лиры. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.*

В ЯНВАРЕ 1978 ГОДА ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ

КНИГА

ЭДУАРДА ШТЕЙНА

*"ПОЭЗИЯ РУССКОГО РАССЕЯНИЯ 1920-1977"*

*"Запад должен знать, что, где и когда писали русские поэты-изгнанники. Книга эта, надеюсь, поможет свободному читателю будущей России. Ценнейшее качество поэзии нашей диаспоры — глубочайшая духовность, позволяющая ей существовать вне родной питательной среды, с успехом замененной возвеличивающим сознанием свободы. Что принесло свободное творческое созидание, что передают в наследство потомкам поэты рассеяния, что сделали они для России — обо всем этом повествует эта книга".*

*Эдуард Штейн*

Это библиографический справочник о произведениях 750-ти поэтов русского Зарубежья.

Цена книги в предварительной продаже — \$6.00.

Нормальная цена книги - \$8.00, включая пересылку.

Заказы направлять по адресу:

**E. SZTEIN, 7 Miles Ave., Woodbridge. Conn. 06525. U.S.A.**

## МИСТИКА И РЕАЛИИ НАФТАЛИ РАКУЗИНА

Нафтапи Ракузин сам себя определяет как реалиста. Но его искусство, уточняет он, не кажется ему менее современным, чем творчество, скажем, Бойса. В этих словах заключена несомненная истина. Хотя Ракузин работает в традиционной технике офорта, его работы были бы немислимы полвека или век тому назад. Техника осталась прежней, но изменился взгляд, видение мира, изменились задачи, интересующие живописца.

В отличие от целого ряда художников, приехавших из Союза (в Израиле он с 1974 года), Ракузин не стремился любой ценой уловить последние веяния авангардистского искусства. Он рано и точно нашел себя и свой стиль, и его работы последних десяти лет показывают органическое развитие настоящей серьезной индивидуальности.

В формировании этого целенаправленного таланта сыграли роль и отец Ракузина, известный книжный график, и учеба в Московском Полиграфическом институте, где многие преподаватели принадлежали к "школе Фаворского".

Хотя художник иллюстрировал многие литературные произведения ("Преступление и наказание", "Моцарт и Сальери", "Три мушкетера", "Процесс"), его работы мало похожи на обычные книжные иллюстрации и, как он сам утверждает, не предназначены для книг. Они существуют как бы параллельно произведениям, выражая их непередаваемую словами атмосферу.

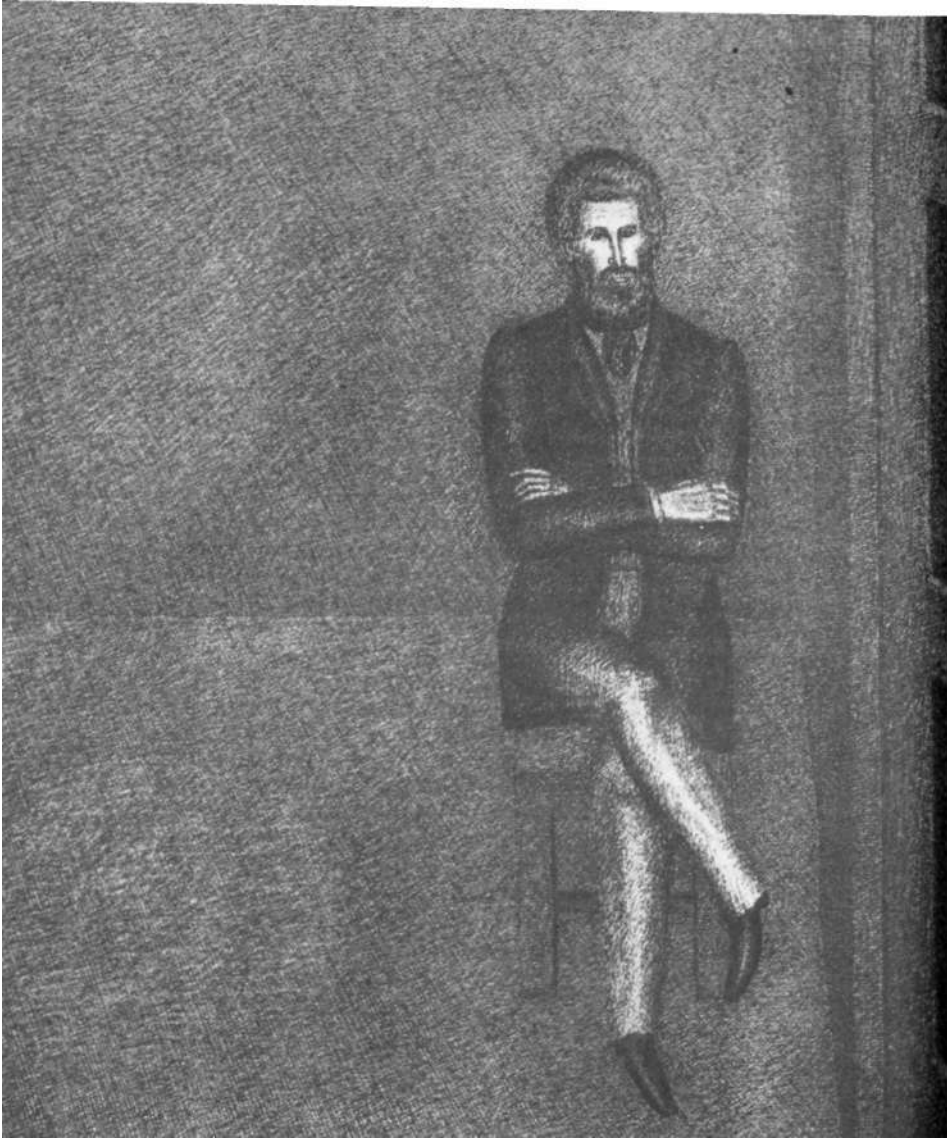
Вот, например, одна из работ серии "Преступление и наказание". Свидригайлов сидит на стуле у чуть приоткрытой двери и подслушивает разговор Раскольников с Соней, когда Раскольников признается ей в убийстве. Ракузин едва ли ни буквально передает текст Достоевского. В романе описано, что рядом с Сониной была пустая и давно необитаемая комната, которую хозяйка хотела сдать, и что в этой-то комнате и обосновался Свидригайлов, принеся туда даже стул, чтобы с комфортом подслушать интересовавший его разговор. Однако, почти никто не помнит так подробно текст Достоевского, чтобы отождествить с ним этот эпизод, практически не имеющий значения в детективном развитии сюжета. И все же, любой, даже если не будет никакой надписи, скажет, что картина эта навеяна Достоевским. Малозначительная деталь — пустая комната — превращается в существенную характеристику мира Достоевского, который заполнен острыми сюжетами, характерами, мыслями, но свободен от вещей.

Ракузин выбирает для иллюстраций те места книг, которые, с одной стороны, представляют для него пластический интерес и, с другой — дают возможность выразить свое восприятие произведения.

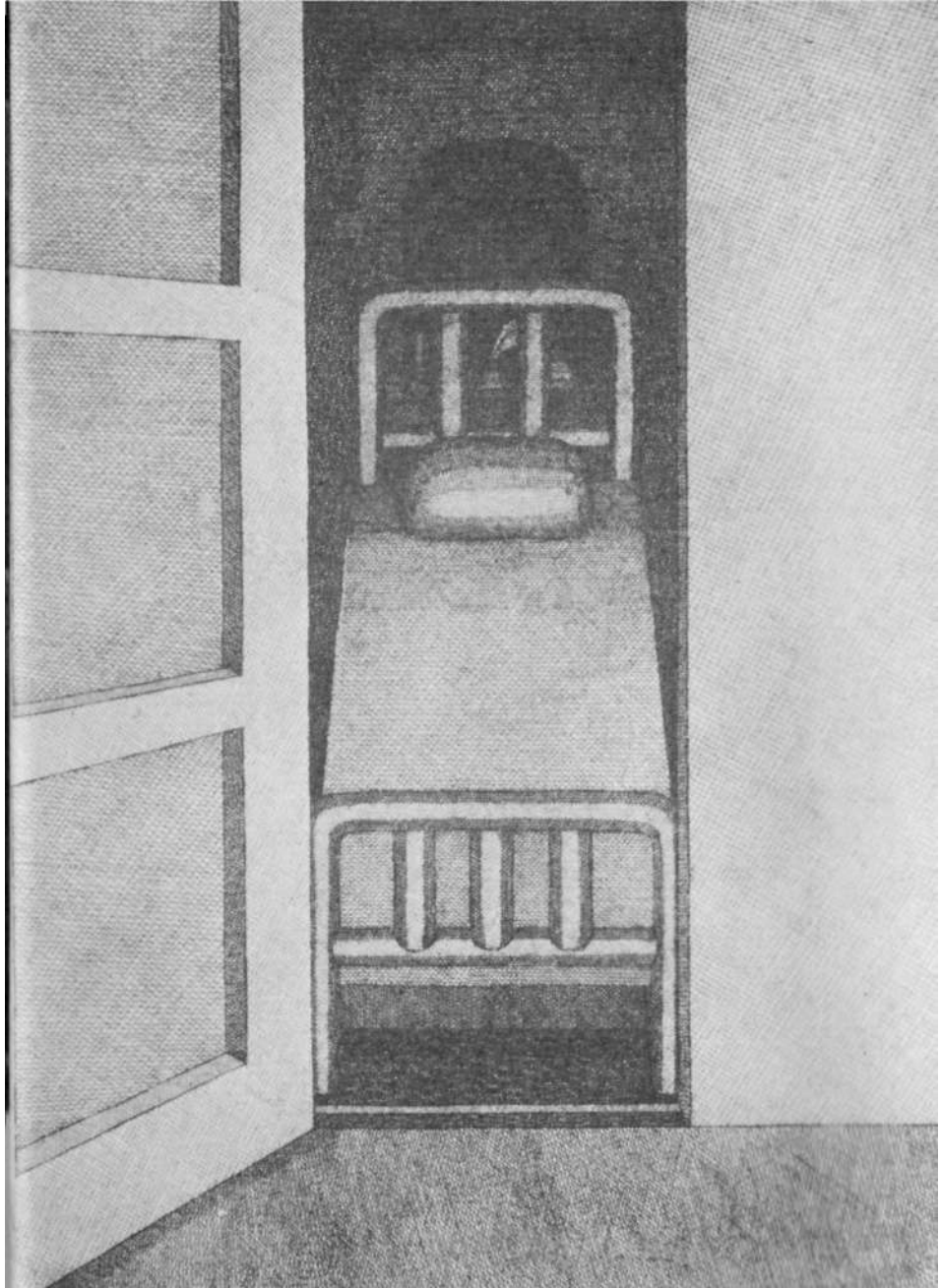
В последнее время, однако, художника все более увлекают самостоятельные композиции. В обоих случаях его волнуют одни и те же проблемы. Ракузин не конструирует сюжет, который он хочет изобразить. Его идеал — находить в жизни или в книгах такие фрагменты действительности, которые отвечали бы внутренним импульсам его творчества. Он выбирает обычно замкнутые, внутренне ограниченные куски пространства с неким прорывом из него. Этот прорыв символизируется дверью или окном, как правило, присутствующими в его работах. Художник довольно безразличен к материалу интересующих его предметов — будь то камень, дерево, бетон или ткань. Ракузина интересуют соотношения геометрических форм и игра света и тени. Его работы сознательно статичны, даже когда он передает движение. Природа и люди словно замирают перед аналитическим взглядом художника. Но статика Ракузина полна внутреннего напряжения. Это напряжение создается концентрацией пространства со сложной геометрией и богатой гаммой оттенков черного и белого.

И офорты, и работы тушью Ракузина состоят из тончайших линий, различная частота которых является одним из способов создания оттенков. Художник любит делать сам всю кропотливую техническую работу. Его творчество — это в большой степени ремесло в старом и высоком значении этого слова. Должно быть, именно поэтому его работы производят впечатление тонкого совершенства, свойственного старым мастерам. Не удивительно признание художника, что он чувствует некую духовную общность с "маленькими голландцами", хотя любит и многих других мастеров.

Галина КЕЛЛЕРМАН

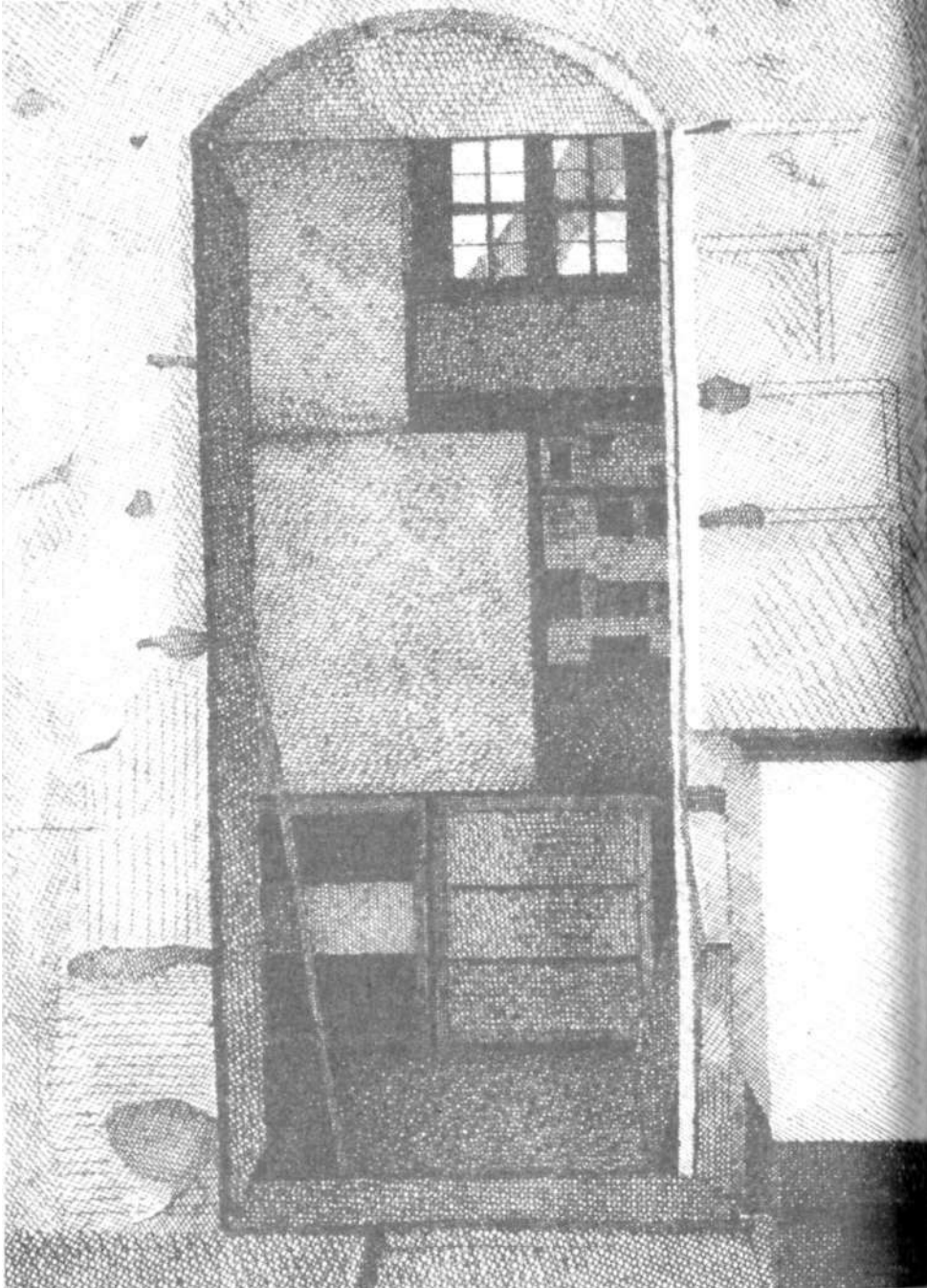


Из серии "Преступление и наказание"

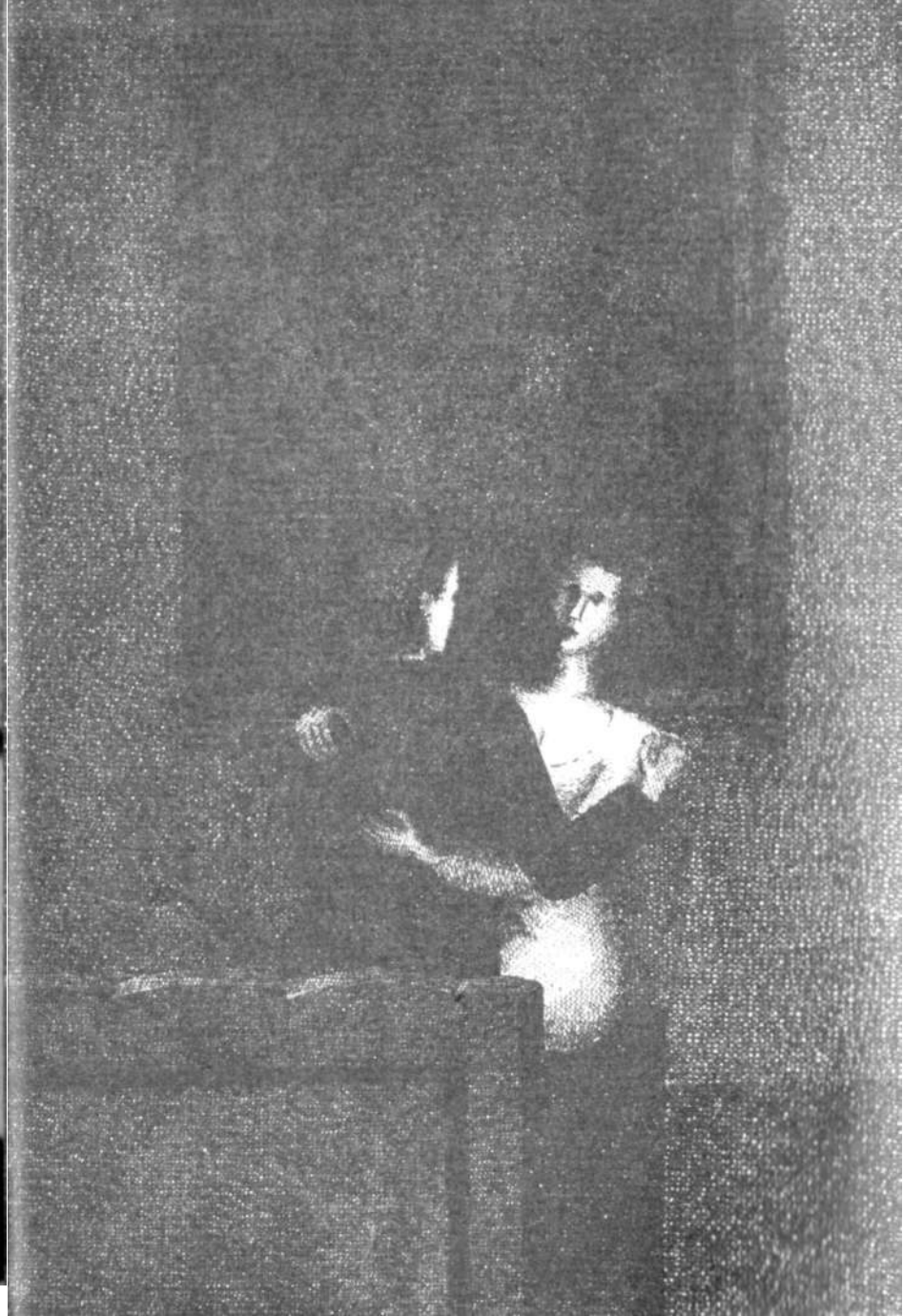


Из серии "Процесс" Кафки





Вход в печатную студию



Из серии "Процесс" Кафки

## В ЗАЩИТУ "СЕГРЕГАЦИИ"

Уважаемая редакция!

Опубликованное в журнале "Время и мы" № 23 за декабрь 1977 года письмо г-на Мельчука и ответ редактора журнала г-на Перельмана возвращают нас не только к сакраментальному для нашего народа противостоянию Рим-Иерусалим, но и вновь поднимают вопрос о нашем отношении к нешире и ериде, причем не столько в общем, философско-созерцательном смысле, сколько в конкретном, злободневно-практическом аспекте.

Очевидно, что абсолютные моральные ценности должны воплощаться в конкретные действия с учетом конкретных обстоятельств, иначе они могут превратиться в свою противоположность. Эта азбучная истина почему-то ускользает из рассуждений различных моралистов, как только речь заходит о моральном долге евреев и Израиля.

Приведу только два примера. Всем известна гуманная помощь, оказанная Израилем нескольким десяткам вьетнамских беженцев. Помощь эта никоим образом не могла повлиять на наше положение, и поэтому правительство Израиля, не задумываясь, оказало ее. Но вправе ли было обвинить Израиль,

если бы он отказался приютить сотни тысяч беженцев? Израиль решил самым гуманным образом проблему сотен тысяч еврейских беженцев из арабских стран, но вряд ли кто-нибудь, кроме Вильнера или Туби, считает справедливым требовать от Израиля такого же решения и проблемы арабских беженцев. Примером абстрактного отношения к морали служит помощь, оказываемая Израилем специальному фонду ООН для помощи арабским беженцам. Кто знает, быть может, террористы, убившие детей в Маалоте, были вскормлены в буквальном смысле на эти деньги.

Сколько лицемерных призывов к нашему моральному долгу перед миром и революцией, перед Богом и прогрессом слышал народ наш от пацифистов и революционеров, "святой" инквизиции и атеистов, патриотов и космополитов. И сколько крови пролил он, следуя всем этим "благородным" призывам, хотя цель у них всегда была одна и та же — заклятие нашей национальной судьбы на алтарь чужих интересов и чуждых идеалов.

К великому сожалению, призывы эти раздаются не только извне, но и изнутри, от лица всевозможных ассимиляторов, воспевающих прелести всемирного братства без евреев, благородных "аристократов", стыдящихся национальных идеалов из-за их "местечковой" ограниченности, или всевозможных "демократов", страдающих национальным мазохизмом, но зато сюсюкающих о моральной "чистоте" диктаторов и убийц.

Мир наш полон борьбы, борьбы жестокой и кровавой. А борьба без жертв не бывает. Вопрос вот, кто, чем и ради чего жертвует. Должны ли евреи жертвовать ради своих национальных интересов, или ради "прогресса всего человечества", ради "мировой революции", ради "освобождения колониальных народов", ради французского патриотизма или насеровского панарабизма. Две тысячи лет нашего скитания в галуте полны бесчисленных и бессмысленных жертв, принесенных евреями, и только тогда, когда народ наш понял, что самое моральное — это служить своим национальным интересам, только с возникновением политического сионизма, который, по сути дела, и отразил этот переворот в сознании еврейского народа, толь-



ко тогда еврейский вопрос начал находить правильное и с исторической точки зрения окончательное решение..

Позиция редакции журнала "Время и мы", неоднократно подчеркивающего свою приверженность "общечеловеческим ценностям" и независимость от сионистской идеологии, не позволяет оценить неширу и ериду с точки зрения национальных интересов Израила.

Спору нет — как объективное положение Израила, так и субъективная ситуация внутри страны влияют на неширу и ериду. Но нельзя отрицать и того факта, что влияние это различно на потенциальных эмигрантов из Советского Союза. Для тех, кто всегда стремился выехать в Израиль и только Израиль, единственное приемлемое решение в этой сложной ситуации — отложить выезд, те же, кто никогда не связывал свою судьбу с Израилем, для кого это государство — всего лишь 135 член ООН, кому чувство национальной принадлежности знакомо лишь в интерпретации "пятого пункта", в ком стремление выехать из СССР — это лишь решение персональных (чаще всего материальных), а не национальных проблем, именно эта категория вдруг вспоминает о своем далеком родственнике с еврейской кровью и без зазрения совести обращается именно к Израилю за желанной визой и к еврейским организациям за дефицитной нейлоновой шубой. Этим людям и в голову не приходит, что с точки зрения не только международного, но и советского права выезд из СССР по визе США или Англии не менее законен, чем по визе Израила, но что они твердо знают, что выезд в Израиль — более доступен. Все страны стыдливо молчат об этом ущемлении прав человека в СССР, но вот моральный долг Израила не только оказывать поддержку, но и прямо вмешиваться в эту борьбу. Никто и не вздумает упрекнуть США, почему они не шлют визы желающим выехать из СССР, почему они не борются за право каждого выехать по этим визам. И вот, вместо честной борьбы с Советской властью за свое право выехать из СССР в любую страну, вместо призывов к властям США и Западной Европы к борьбе за признание действительности их виз, наш "моралист" начинает предъявлять требования к Израилю, "виноватому" в том, за что десятки узников Сиона

еще и сегодня томятся в лагерях Потьмы. Этот "моралист" прекрасно знает, что ни США, ни другие страны Западной Европы не готовы выдавать визы кому угодно (всем известны мучительные ожидания в Риме), но вот Израиль-де "обязан" бороться не только за возвращение евреев в Эрец-Исраэль, но и за бегство из Советского Союза всех недовольных политической советской власти.

"Оставим неевреев" — тем самым г-н Перельман принимает или, по крайней мере, понимает тенденцию ограничения выдачи израильских виз тем, кто, выезжая из СССР, не собирается ехать в Израиль. Не секрет, и вполне естественно, что к этой группе относятся все неевреи, а также смешанные семьи или дети от смешанных браков (я вовсе не исключаю и "чистых" евреев). Единственный способ отделить потенциального оле от ношрим — чисто формальный, и в этом-то и заключается смысл "сегрегации", проводимой в Сохнуте. Трудно не понять этого, но вот передергивание карт никогда не служило мерилom высокой морали. Обвинения, выдвигаемые против Сохнута и Израила, основаны на тех же лицемерных доводах, что и известная резолюция ООН, осуждающая Израиль как расистское государство лишь на том основании, что под действие Закона о возвращении попадают только евреи. Хотя большинство стран мира ограничивает иммиграцию именно по национальному признаку (национальные квоты в США, принадлежность к "немецкой культуре" для ФРГ, иммиграционные ограничения в Англии и Франции), а инициаторы этой резолюции — СССР и арабские страны печально известны своей приверженностью принципам национального равенства, но клеймо расизма предназначено для Израила.

Вот какая "мораль" господствует сегодня в мире, вот ради чего должны мы отказаться от своих национальных интересов. То, что сегодня — норма повседневной жизни — табу для евреев и Израила. И так на протяжении тысячелетий, евреям либо запрещено делать то, что делают другие, либо они обязаны делать то, что не делают другие. В этой двойной морали — основа извечного антисемитизма и негоже нам, евреям, отказываться от своих национальных интересов ради сомнительных комплиментов подобных "моралистов".

Возможно, что влияние выдачи израильских виз всем беглецам из Советского Союза на судьбу алии из этой страны — спорный вопрос. Но лично я готов с чистой совестью отместить все обвинения и упреки в том, что мой моральный долг помочь бежать из России Валерию Трофимовичу Ковальчуку, если это хоть в какой-то мере усложнит алию Хаима Абрамовича Шепшелевича. Если существует хоть малейшая (пусть даже теоретически) опасность того, что использование израильских виз для эмиграции в США или другие страны послужит дополнительным фактором, ограничивающим алию в Израиль, то прямой долг всех официальных инстанций свести к минимуму эту опасность, даже рискуя навлечь на себя гнев "моралистов" не только из Парижа или Нью-Йорка, но и из Тель-Авива. Ведь все равно — "виноваты евреи".

*Анатолий Гиллер, Хайфа.*

#### ОТ РЕДАКЦИИ:

Письмо Анатолия Гиллера представляет интерес уже потому, что отражает мировоззрение определенной категории новых репатриантов. Люди эти, недавно покинувшие Советский Союз, видят едва ли не свой национальный долг в том, чтобы отстаивать непримиримо экстремистскую позицию в отношении любой точки зрения, которая, как им кажется, не соответствует национальным интересам Израиля. При этом, всякий раз они пишут и выступают в таком тоне, будто выдана им кем-то свыше индульгенция на безгрешность суждений — им и только им дано знать, в чем состоят истинные интересы государства Израиль. Но как это всегда бывает, тоталитарное мышление, вывезенное из Советского Союза, мало помогает разобраться в сути явления, и тогда вместо логически выстроенной аргументации извлекается все отсюда же вывезенный и столь знакомый девиз о тех, кто не с нами, а, следовательно, против нас. А так как "не с нами" все неевреи, то в воспаленном сознании наших сионистов во вражде с Израилем оказывается весь свободный мир, который, конечно же, мало чего стоит с его нравственными идеалами и побуждениями, с его борьбой за демократические права и свободы человека.

Если мы правильно поняли Анатолия Гиллера, у евреев нет моральных обязательств ни перед миром, ни перед Богом, ни перед прогрессом, зато мир этот находится в постоянном и неоплатном долгу перед евреями. И он, этот мир, еще смеет от Израиля чего-то требовать, — например, спасения людей от тоталитаризма. И почему, собственно, Израиль, а не какая иная страна Западной Европы? — недоумевает господин Гиллер, будто он совсем уж темный человек и никогда не бывал в ОВИРе, и не знает, что КГБ ни в какие иные страны, кроме Израиля, виз не выдает (иным даже прямо говорится — или Израиль, или решетка!).

Но нашего корреспондента как-то не очень занимает КГБ, его вообще не очень занимают палачи, а все более жертвы: "Экие лицемеры, вместо честной борьбы с советской властью, они без зазрения совести обращаются за помощью к Израилю — за визой, а заодно и за дефицитной нейлоновой шубой!" В связи с этим трудно не высказать восхищения моральной позицией автора письма, заявившего, что он и пальцем не пошевелит ради того, чтобы помочь бежать из России некоему Валерию Трофимовичу Ковальчуку, если это "хоть в какой-то мере осложнит алию Хаима Абрамовича Шепшелевича". Что ж, можно, конечно, и так воплощать "абстрактные моральные ценности" в "конкретные действия" и еще объявлять их отвечающими национальным интересам государства Израиль. Все зависит от конкретных обстоятельств. Можно даже воинствующий национализм сделать предметом национальной гордости, только в этом случае пусть уж сам читатель оценивает подобную нравственную позицию: как и в каких случаях действовать, как и кому помогать.

Конечно, израильский Кнесет и Сохнут ведут титаническую борьбу за свободу советских евреев, но согласимся, что кое-что делается и за пределами Израиля, и если бы этого не было, то мы сегодня вряд ли имели бы возможность преспокойно сидеть в Тель-Авиве и Хайфе и обсуждать судьбу тех, кто и по сей день томится в советских стенах.

Впрочем, не трудно себе представить, что было бы, если бы свободный мир начал действовать по нормам, предлагаемыми нашим корреспондентом. Обращается, скажем, его подопечный, Хаим Абрамович Шепшелевич за помощью к сенатору Джексону, и следует ответ! "Де, не по адресу пишете, уважаемый, пожалуйста по назначению, в Израиль, в еврейский Сохнут к господину Альмоги!" И уж, если совсем откровенно, мы отнюдь не уверены, что и сам Анатолий Гиллер оказался бы столь благополучно в Израиле (а не где-нибудь восточнее), если бы не поддержка тех, кого он сегодня с таким гневом уничтожает. За то уничтожает, что они хотят помочь и другим, так же страдавшим в СССР как и он, но имеющим иные чем он жизненные планы или мировоззрения.

Это верно, что мир наш полон борьбы, борьбы жестокой и кровавой. Верно и то, что мир этот ведет себя не лучшим образом перед

лицом наступающего тоталитаризма — советского, панарабского — любого, втоптывающего в землю идеалы и нормы нравственности. Но и что же отсюда следует? Каждому народу объявить себя свободным от моральных обязательств? Исповедовать равнодушие к страданиям других, если кто-то был равнодушен к страданиям нашим? Изоляционизм и шовинизм никогда еще не соседствовали с добром. Печи Освенцима и танки на улицах Праги — вот их естественное следствие. И израильский изоляционизм не явится исключением. Отказав в поддержке Валерию Трофимовичу Ковальчуку, мы не вправе рассчитывать на помощь со стороны его брата или отца, если завтра где-нибудь в Жмеринке начнут бить таких же, как мы с вами, господин Гиллер, евреев.

Автор письма ставит чуть ли не в вину редакции журнала "Время и мы" ее приверженность к общечеловеческим ценностям. Честно говоря, мы не видим в этом большого позора. И, в отличие от господина Гиллера, отнюдь не считаем, что эти ценности хоть как-то противостоят национальным устремлениям народа, который на протяжении двух тысячелетий исповедовал идеалы свободы и справедливости. Но никогда не утверждал, что эта справедливость должна в разных дозах отпускаться другим людям и народам — кому-то в полную меру, кому-то — наполовину, а кому-то не отпускаться вовсе. И уж ни Бог, ни народ Израиля никого не уполномочивали подходить с шовинистическими мерками к судьбе человека в зависимости от того, признают или не признают его евреем чиновники Сохнута.

## "ВРЕМЯ И МЫ" В МОСКВЕ И ЛЕНИНГРАДЕ

Уважаемый господин редактор!

Я хочу в этом письме познакомить Вас поближе с довольно большой категорией ваших читателей, отдаленных от Израиля не только гигантским расстоянием, но и почти непроницаемыми границами, — и высказать несколько соображений от их имени.

Волей случая мне довелось весьма близко и долго общаться с самой благодарной для такого рода изданий, как Ваше, читательской аудиторией: будучи редактором самиздатского журнала "Евреи в СССР", я старалась внимательно следить за восприятием, реакциями и интересами читателей нашего журнала, собирала и запоминала их отзывы, мнения, пожелания. А читатели еврейского самиздата в Москве и Ленинграде — это и ваши читатели. И я полагаю, что их суждения интересны и Вам как редактору одного из самых читаемых в этой среде русскоязычных изданий. Кроме того, я надеюсь, что они могут оказаться небесполезными для тех кругов израильской общественности, от которых зависит существование и развитие русскоязычной прессы и литературы.

Насколько мне известно, журнал "Время и мы" появился

в России примерно в середине-конце 1976 года. За год он приобрел репутацию наиболее интересного и популярного "Тамиздата" в самых различных кругах российской интеллигенции. Разумеется, в первую очередь, он попадает в алию, поскольку это — самая независимая от властей группа.

Исторически сложилось так, что основной, доступной в советских условиях, духовной и интеллектуальной пищей ассимилированной еврейской интеллигенции была и есть литература, литература на русском языке, а в последние десяток-полтора лет — литература неофициальная. "Самиздат," а позднее "Тамиздат", сформировали в значительной степени интересы и взгляды в этой среде. Но особенно внимательно следит сейчас этот читатель за тем, что попадает в Россию из Израиля.

С сожалением нужно констатировать, что такие израильские издания, как "Менора" и "Возрождение", хотя и попадают в достаточном количестве в Россию, в силу специфики своих интересов и идей, пока еще мало затрагивают еврейскую интеллигенцию, полностью находящуюся в сфере влияния русской и европейской культуры. Рассчитывать на генетическую память русского ассимилированного еврейства пока не приходится (быть может, она проснется здесь, в Израиле). И если еврейская история вызывает активный интерес, то религия для этих людей — закрытая книга, и еще не наступил час, когда они захотели бы ее открыть. Так что пока можно уверенно сказать: основная масса русско-еврейской интеллигенции — это ваши читатели.

Что же, прежде всего, интересует этого читателя, когда он берет в руки журнал или книгу, изданную в Израиле? На фоне общественного информационного голода естественно было бы предположить, что наибольший интерес вызывает любая свежая достоверная информация или литературная новинка. Однако информационный голод сейчас уже не столь острый: "Континент", "Вестник РХД", книги издательства "Посев", "Ардис", "Имка-Пресс" довольно часто попадают и в алию и в среду еврейской интеллигенции. И вот оказывается, что один из главных факторов, на котором фиксирует свое внимание читатель, — это широта взглядов и мнений, высказывающихся на страницах зарубежных изданий, их объективность

и отсутствие идеологической ангажированности. Интересно отметить, что идеологический крен "Континента", несмотря на его популярность, был чутко замечен в среде российской демократической интеллигенции. Но особенно высокие требования предъявляются израильским изданиям, они рассматриваются с этой точки зрения особенно придирчиво. Приведу конкретный пример. При всем том, что Ваш журнал был безусловно воспринят как издание свободное и независимое, некоторые материалы, вполне определенного характера, вызвали весьма единодушное разочарование у читателей. И тут, в первую очередь, на память прихрдит статья Бориса Орлова "Пути-дороги римских пилигримов", опубликованная в 14 номере. Хотя редакция и печатала ее в порядке дискуссии, но безапелляционный тон человека с "мировоззрением" (по квалификации И. Рубина) не мог не напомнить хорошо знакомый советский критический стиль. Статья же А. Левиной была столь категорически квалифицирована как беспомощный дамский лепет, что читатель тут же забыл, что журнал таким образом ведет дискуссию. Я отнюдь не считаю, что нужны ограничения на материалы, "идеологически выдержанные", но, публикуя рассуждения Орлова о заблудших бездомных евреях, чуть ли не вылизывающих "мостовые, исшарканные чужими шагами", редакция, видимо, все-таки должна была учесть уровень своих читателей, чутко отличающих, — где высказывается частное мнение, а где — рецепты идеолога, точно знающего, "что и как надо", и хоть немного выправить советский тон статьи. Ведь любое, самое свободное издание руководствуется каким-то общим нравственным критерием при отборе материалов. А Борис Орлов к тому же значился как зам. главного редактора, и уже поэтому статья не воспринималась как частное мнение. У советских евреев, в отличие от автора статьи, очень хорошая память, из нее никак не удается удалить целые блоки, в которых еще долго сохраняются и "чужие мостовые" и советская публицистика.

Я не стала бы столь подробно останавливаться на этом эпизодическом материале, который, кстати, не определяет лицо журнала, если бы ставила своей целью дать характеристику журналу. Но я хочу дать характеристику его читателей, и по-

этому вместо разнообразных комплиментов, которые журнал вполне заслуживает и которые в его адрес я действительно слышала во множестве в России — я говорю об этих "больных" точках, дающих возможность наиболее наглядно проиллюстрировать — что же собой представляет российский читатель. Ведь с этим связаны очень серьезные и для Израиля вопросы. Дело в том, что для еврейского интеллигента выбор направления эмиграции находится в прямой зависимости от его представлений о свободе в той стране, куда он собирается ехать. А, к сожалению, в среде московской и ленинградской интеллигенции сложилось твердое представление об Израиле, как о закрытом, духовно бедном обществе, замкнутом на свои узко национальные проблемы и подчиняющем культуру сегодняшним идеологическим интересам. Короче говоря, Израиль рассматривается, в лучшем случае, как культурная провинция, в худшем — как еще одно тоталитарное государство, разве что без карательного аппарата.

Тут я предвижу многочисленные возражения — что все это лишь удобные предлоги для тех, кто хочет уютнее устроиться в Америке или Канаде. Но я категорически настаиваю, что есть весьма значительная категория людей, для которых выбор направления эмиграции не связан с экономическим фактором. Те, кто не едут в Израиль из экономических соображений, вообще вряд ли должны нас интересовать: Израиль никогда, или во всяком случае в обозримом будущем, не сможет конкурировать со Штатами в вопросе материального устройства эмигрантов из России. Но для тех, кого интересует не только материальный комфорт, но и духовный (даже если они не являются евреями в полном израильском смысле этого слова) — Израиль может и должен успешно конкурировать с Западом, он может создать такую ситуацию, при которой для еврейской интеллигенции не будет стоять вопрос, куда ехать. И это единственная возможность борьбы с неширой.

Надо сказать, что журнал "Время и мы" сделал довольно много в этом направлении уже самим фактом своего существования и своей открытой декларацией полной свободы и беспартийности. Многие читатели журнала вдруг делали для себя открытие — оказывается, в Израиле существует свобод-

ная — не религиозная, не сионистская, а полностью независимая и к тому же высокого уровня русскоязычная пресса. Я знаю людей, для которых этот, казалось бы, мелкий факт стал решающим в выборе, куда ехать. А если проследить, кто и откуда едет мимо Израиля, то не нужно быть исследователем-социологом, чтобы понять рычаги, которые приводят их в движение, и увидеть, что факт этот совсем не мелкий. Эти люди пресыщены разного рода идеями, они устали и хотят, чтобы их, наконец, оставили в покое идеологи всех мастей. Они не хотят больше религии или атеизма, сионизма или социализма, они хотят читать все, что им заблагорассудится — Бердяева и Солженицына, Мандельштама и Кафку, "Континент", а если бы можно было и "Новый мир" времен Твардовского. Они твердят с маниакальным упорством — мы хотим быть свободными людьми в свободной стране. Легко понять, почему для этой категории людей такое важное значение имеет уровень и характер тех изданий, которые попадают им в руки из-за рубежа. Они привыкли идентифицировать понятие — свобода — со свободой слова, то есть с той свободой, которой им не хватало в России. И от того, смогут ли они прочитать в Израиле то, что их волнует и интересует, зависит, куда они поедут из Вены. При этом имеет место и весьма несправедливый подход к Израилю: если в Америке нет интересной русскоязычной прессы, так это вроде бы нормально — нет спроса и все. А вот если нет в Израиле — это значит что-то не в порядке со свободой печати. Вопрос самокупаемости не воспринимается как объяснение или оправдание. Раз хватает денег на сионистские и религиозные издания, должно хватать и на свободные — такова незатейливая логика советского интеллигента. Может показаться оскорбительной сама постановка вопроса: почему Израиль должен заманивать евреев процветающей светской литературой на русском языке? Что ж, можно и оскорбиться. Все зависит от точки зрения. А можно и попытаться понять, что жизнь в русской диаспоре — это не экскурсия по Золотому кольцу, это полное вращение в культуру, идеологию, психологию со всеми вытекающими отсюда последствиями, о которых написано уже вполне достаточно. И, вероятно, Израиль

должен четко для себя сформулировать — чего он хочет от русского еврейства, нужна ли ему алия интеллигенции из крупных городов, или он уже перенасыщен литераторами, художниками, научными работниками, музыкантами. И если эта алия действительно нужна, то стоит, видимо, приложить некоторые усилия и учесть реальные запросы этой алии.

Пока что у меня сложилось впечатление, что редакция журнала "Время и мы" принадлежит к весьма немногочисленной категории людей, действительно понимающих интересы еврейской интеллигенции из России. Я даже полагаю, что Сохнут вполне мог бы выделить редакции денежную премию (за тех потенциальных ношрим, которые, обнаружив наличие такого журнала в Израиле, приехали сюда), во всяком случае, в размере зарплаты своих сотрудников, которые сидят в Риме и не удосужились довести до своей блудной паствы в Остии то, что ее действительно может заинтересовать. А там буквально нарасхват шли привезенные мной на всякий случай (я полагала, что Остия просто завалена израильскими русскоязычными изданиями) немногочисленные экземпляры "Сиона", "Время и мы" и книжки издательства "Москва-Иерусалим", о каковом в Остии и не слыхивали, — только в "Самиздате" видели "Трепет забот иудейских" А. Воронеля.

Если же интеллигентская алия реально сейчас не нужна Израилю, то не стоит морочить людям головы, — пусть они едут себе в свои Америки и Канады преподавать русский язык, рассказывать по разным радиостанциям о советских ужасах и пристраиваться на многочисленных славистских кафедрах богатых заокеанских университетов. И не стоит им посылать вслед проклятия. Они ведь могут испугаться и приехать. И что с ними тогда делать?

Возвращаясь же к "отношениям" между журналом "Время и мы" и читателем российским, я хочу сообщить Вам, что журнал весьма широко читается и почитается серьезным изданием не только в кругах еврейских, но и русских — демократических, литературных, художественных — и не только неофициальных: его читают даже в редакции "Литературной газеты". И все, конечно, высказывают крайнее сожаление по

поводу того, как мало экземпляров попадает в Россию. Кроме того, высказываются сожаления о том, что недостаточно еще такого рода изданий. Я, конечно, понимаю, несколько рискованно — со стороны вашего журнала призывать к созданию конкурирующих изданий, но полагаю, что у редакции Вашей достаточно широты и беспристрастности, чтобы понять объективную необходимость широкой свободной русскоязычной прессы в Израиле. И вопрос самоокупаемости не может быть камнем преткновения в этом вопросе. Подсчет прибылей нужно отложить. Известно ведь, что "нам не дано предугадать, как наше слово отзовется".

Конечно, можно попытаться убедить этих жаждущих свободной русской литературы интеллигентов, что просто нет денег, что на всем этом диком капиталистическом Западе существуют только те издания, которые могут себя прокормить или те, которые имеют богатых меценатов. Я только думаю, что такие убеждения — занятие бесполезное, они просто не будут услышаны. И может быть, стоит все-таки подумать, как сделать, чтобы эти московские и ленинградские евреи нашли в Израиле то, что они бросаются искать "на чужих мостовых" в Париже, в Мюнхене, в Нью-Йорке, по всему свету.

*Э. Сотникова*  
*Редактор журнала "Евреи в СССР"*

# КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ.** См. журнал № 24.

**ЭМИЛЬ КОГАН.** Литературный критик. Родился в Москве в 1941 году. Окончил факультет журналистики Московского Государственного Университета. Работал литературным сотрудником в газете "Московский комсомолец". В 1968 году эмигрировал во Францию. Преподаёт русский язык и советскую прессу в Институте Восточных языков (Париж). Опубликовал ряд статей во французских изданиях: "Ля кянзен литтерер", "Ле леттр Нувель", "Ле Монд".

**АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ.** Философ и публицист. Родился в Москве в 1929 году, окончил философский факультет Московского Государственного Университета. С 1956 по 1973 год работал в Институте Востоковедения и ИНИОН — Академии наук. С 1951 по 1973 год (с перерывами) читал лекции по индийской философии в Московском Университете. Сейчас читает такие же лекции в Лондонском Университете. Эмигрировал в Англию в 1974 году.

**ФАИНА БААЗОВА.** Юрист и историк. Родилась в городе Они (Грузия) в семье выдающегося деятеля сионистского движения раввина Давида Баазова. Окончила юридический факультет Государственного Университета. По окончании Университета работала в Государственном этнографическом музее евреев Грузии и одновременно — в коллегии адвокатов. В 1938 году переехала в Ленинград, продолжая работать в коллегии адвокатов и в то же время становится сотрудником Ленинградского этнографического музея Академии наук СССР. В годы войны возвратилась в Тбилиси. В Израиль репатрировалась в 1973 году.

*ВЫШЕЛ В СВЕТ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ*

**ВЕСТНИК РХД № 122 (III-1977)**

В номере, в частности, опубликованы следующие материалы:

Н. СТРУВЕ - К 60-летию русской революции.

Письмо читателя - А. Солженицын.

О книге А. Краснова-Левитина "Лихие годы".

ЗИНАИДА ГИППИУС - Два завета

А. МЕНЬ - По поводу отклика на интервью (ответ И. Шафаревичу)

МОРИС КЛАВЕЛЬ - Величие Маркса

ИОСИФ БРОДСКИЙ - Новый Жюль Верн (поэма)

ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ - Из записок Зыбина

В. НАБОКОВ - Памяти В. Набокова

В. НАБОКОВ - Истребление тиранов

Д. ДАРСКИЙ - Розанов человек

В. РОЗАНОВ - Неизданные страницы

Интервью с художником В.Д. Линицким

Е. ВАГИН - Интервью "Вестнику РХД"

В измене не повинен (Слово в защиту Игоря Огурцова)

ЮРИЙ ФЕДОРОВ - Письмо из концлагеря

А. СОЛЖЕНИЦЫН - Всероссийская мемуарная библиотека

С заказами обращаться в бюро Р.С.Х.Д. по адресу:

**LEMESAGER.A.C.E.R.**

**91, rue Olivier de Serres, 750 15 Paris, France.**

**Представитель в Израиле М. Агурский,**

**POB 7433 Иерусалим**

# Novoye Russkoye Slovo

Oldest Russian Daily - Established 1910

243 WEST 56th STREET  
NEW YORK, N. Y. 10019

М. Г. Tel. COlumhus 5-5500

Подписываясь на газету будьте добры послать нам денежный перевод на сумму заказа. Просим об этом, чтобы облегчить нашу работу и ускорить оформление подписки.

## УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Ежедневное и воскресное издание:

Год — \$50.00; 6 мес. — \$28; 3 мес. — \$17; 1 мес. — \$6.00

Ежедневное издание только:

Год — \$45.00; 6 мес — \$25.00; 3 мес. — \$15.00.

Воскресное издание только:

1 год — \$20.00; в месяцев — \$12.00

Заграничная подписка принимается только на

1 год — \$60.00; 6 месяцев — \$35.00

Только воскресное издание для заграницы

1 год — \$25.00; 6 месяцев — \$15.00

— Перемена адреса 1 доллар —

Заграничная подписка воздушной почтой  
в страны Европы и Латинской Америки

Ежедневное и воскресное издание:

1 год — \$150.00; 6 месяцев — \$90.00

Воскресное издание только:

1 год — \$75.00; 6 месяцев — \$40.00

Отправка газеты в страны Азии, Африки и Австралии

Ежедневное и воскресное издание:

1 год — \$180.00; 6 месяцев — \$100.00

Воскресное издание только:

1 год — \$85.00; 6 месяцев — \$45.00

Подписные деньги посылайте наличными в заказном письме, чеком или почтовым переводом (Мони ордер) простым письмом.

"ВРЕМЯ и МЫ

1978 год.

## УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ В ИЗРАИЛЕ:

Сроком на 6 месяцев — 210 лир

на 12 месяцев — 384 лиры

## УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ:

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев - \$ 19.60 (авиапочта — 37.50)

на 12 месяцев- 39.20 (авиапочта — 75.00)

Цена номера в открытой продаже — \$ 4.5

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев — F.FR. 92 (авиапочта — 155)

на 12 месяцев— 184 (авиапочта — 310)

Цена номера в открытой продаже — F.FR. — 23

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев — DM 46 (авиапочта — 88)

на 12 месяцев — 92 (авиапочта — 176)

Цена номера в открытой продаже — DM — 11

бланк для ПОДПИСКИ на 1978 год на обороте



"ВРЕМЯ и МЫ" - 1978 год.

**ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1978 ГОД**

**Сроком на 6 месяцев  
на 12 месяцев**

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

\* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" —  
можно по русски — и высылается по адресу;  
**P.O.B. 24123, Tel-Aviv** или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**

**ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1978 ГОД**

Авиапочтой **сроком на 6 Месяцев**  
Обыкновенной почтой **на 12 Месяцев**

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

\* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — мож-  
но по-русски — и высылается по адресу: **P.O.B. 24123,**  
**Tel-Aviv, Israel** или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**

# No other airline can make this statement.



**Зав. редакцией и корректор Марина Голубева  
Художник Лев Ларский**

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

**Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9  
п. я. 24123, Тель-Авив. Тел. 621085.  
62/9 Nachmani st. T.-A. Te1.-621085.**

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

ОСР и вычитка - Давид Титиевский, февраль 2010 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки фотозтюд "Иерусалим".**

